

Леонид Исаакович Менакер (род. в 1929 г.) — кинорежиссер, сценарист. Заслуженный деятель искусств России, профессор Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. Постановщик ряда фильмов. Автор книги “Цареубийцы” (М., 2002). В “Звезде” в 1998 г. была опубликована его повесть “Волшебный фонарь”. Живет в С.-Петербурге.

© Леонид Менакер, 2008

Леонид Менакер

КАЛЕЙДОСКОП

“Калейдоскоп — трубка с осколками разноцветного стекла, в которой можно наблюдать быстро сменяющиеся цветные узоры. Стал детской игрушкой. В переносном смысле — быстрая смена мелькающих образов, лиц, событий, явлений (например — „калейдоскоп впечатлений“).”

Большой энциклопедический словарь

КОЛЛЕКЦИОНЕР

До войны, в пятом классе, сидел за партой с коротко стриженной отличницей Наташей. Крутолобая своенравная девочка мне нравилась. Наверное, был даже влюблен в нее. Мы были одноклассниками несколько лет и постепенно сдружились, не обнаруживая перед окружающими своих отношений, поскольку дружба между мальчишкой и девочкой высмеивалась. Иногда я даже провожал Наташу до ее дома на Исаакиевской площади. Мы жили неподалеку друг от друга и, бывало, случайно виделись на улицах.

Однажды встретил Наташу с тяжелой сумкой картошки. Помог донести покупку до дверей ее квартиры. Она пригласила зайти, познакомила с родителями. Мать оказалась строгой и необщительной. Зато отец Иван Ефимович — веселый и добродушный — сразу понравился. Наташа была, что называется, “папина дочка”: отца любила больше, чем мать. Тайком от жены он покупал ей самые дорогие конфеты “Мишка на Севере”, доставал редкие тогда лакированные туфельки и красивые платья. Взъерошивая светлый ежик волос на голове дочери, ласково звал ее “Ташка-Пташка”. На стене висели две пары боксерских перчаток; Наташка похвасталась: “Папка боксу учит! Он у нас — на все руки мастер, товарищ Шишкин-Репкин!” Причина прозвища позже стала понятной.

Жили они в большой комнате старинного петербургского дома. Высокий, украшенный лепными виньетками потолок, полукруглые окна, через которые виднелся Исаакиевский собор, напоминали театральную декорацию. Но больше всего заинтересовала часть комнаты, отгороженная книжными полками. Там хозяйничал отец Наташи. У стен стояли подрамники, обтянутые загрунтованными холстами, висели копии известных картин. На мольберте — начатая работа. На табуретках — тюбики красок, кисти, палитры. Пахло скипидаром и лаком. Иван Ефимович служил бухгалтером Военного округа, но предан был только живописи. Вот почему дочка величала его “Шишкин-Репкин”!

Мечтая стать художником, я учился в студии при Дворце пионеров, и знакомство с настоящим живописцем было подарком судьбы. Стал чаще приходить в дом на Исаакиевской площади, навещая скорее не Наташу, а ее отца. Иван Ефимович тщательно копировал с открыток и

репродукций картины известных русских мастеров. Стены украшали копии полотен Перова — знаменитый “Рыболов”, “Охотники на привале”, красовались мальчишки с клетками — “Птичьи враги” и, конечно, шишкинские медведи и васнецовские богатыри.

Постепенно восхищение полотнами бухгалтера гасло. Я не мог объяснить причину разочарования, но отталкивала дотошная тщательность, чрезмерная прорисованность деталей, преувеличенная яркость цвета. И все же общение с Ефимовичем, наблюдение за процессом работы были интересны, и я продолжал его навещать.

Началась война. Мы остались в окруженном Ленинграде. Наступили ледяные дни блокады. Замерзший город застыл, как в страшном сне. Среди сугробов стояли вереницы заваленных снегом трамваев и троллейбусов. Брели одинокие фигуры людей. Негромкий стук метронома из уличного репродуктора в морозном воздухе походил на еле слышное биение умирающего сердца. Город медленно погибал...

В очереди за тощей блокадной пайкой встретил Наташу. Сначала не узнал в странном существе, закутанном в большую, с чужого плеча шубу, подпоясанную веревкой, бойкую одноклассницу. Обтянутое прозрачной кожей лицо едва виднелось из-под надвинутого до глаз старого платка.

Медленно шли по заснеженной улице. Наташа скупно, неохотно отвечала на расспросы. Сказала безжалостно: “Мать совсем плоха. Скоро умрет”. Спросил: “Как Иван Ефимович?” Ответила с неожиданной злостью: “Гад проклятый! Псих ненормальный! Мы с матерью подышаем, а он свой паек на картинки меняет!” Сбивчиво объяснила: отец совсем рехнулся, получает военный паек, крошкой не поделится. Сам качается, а продукты на разную мазню меняет. Почти всю мебель сожгли, осталось большое кресло — расколоть нет сил. Может, зайдешь, поможешь?

Громадную промерзшую комнату едва освещал огонек коптилки. Высокие окна забиты кусками фанеры и картона (во двор угодили снаряд, все стекла вылетели). На диване из-под вороха тряпья виднелся желтый костистый профиль матери. Замотанный женским платком, у погасшей печурки безучастно сидел отощавший Иван Ефимович. Равнодушно взглянул на меня, узнал: “А, это ты...” — отвернулся. Наташа зло швырнула на пол топор: “Печку бы растопил! Иждивенец! — Раздраженно пожаловалась: — Калории свои бережет... Ждет, когда я из последних сил...”

Вытащили с ней на обледенелую лестницу старое кресло красного дерева и с трудом раскололи его. Растопили железную печурку. Затрещал огонь, старик оживился, достал припрятанный окуроч, закурил. Отсветы пламени бликами осветили темноту. Удивило странное сооружение — между полками, отгораживающими мастерскую Ивана Ефимовича, появилась дверь, обитая ржавым кровельным железом и закрытая на большой висячий замок. Заметив мое недоумение, Наташа пнула валенком громоздкое сооружение: “Сокровища свои прячет. Старый дурак”. Отец добродушно огрызнулся: “Сама дура. И мамаша твоя — дура. — Кивнув на запертую дверь, повернулся ко мне: — Обе своими куриными мозгами не понимают: там — шедевры! Им цены нет! А этим... — ткнул худым пальцем в сторону жены и дочери, — только бы пожрать!” Старик встал, снял с груди большой ключ: “Пойдем, покажу”. Дрожащими руками отпер висячий замок, зажег воткнутую в горлышко бутылки свечку: “Тут проклятую коптилку нельзя... Здесь только свечечку!” Зябко потер руки, усмехнулся: “Свою пачкотню сжег к чертовой матери! Смотри, что теперь у меня!” — Высоко поднял свечу.

Из темноты выступила золоченая резьба старинных рам. Огонек осветил небольшой холст — щедрыми, мощными мазками была написана бритая голова казака с длинным чубом. “Узнаешь? — торжественно спросил старик. — Репин! Этуд к знаменитым „Запорожцам“!” Ефимыч любовно осветил висящее рядом полотно: “Сам великий Федотов!” Старик, будто скупой рыцарь у сундуков с золотом, таинственно освещая поднятой свечой картины своей коллекции, задыхаясь, шептал: “Видишь?! Неизвестный Крамской! Понимаешь? Крам-ской!” Отступив, любясь, освещал следующую картину: “Кто? Узнал?” Вглядываясь в зелено-голубое пространство моря, я ошеломленно спросил: “Айвазовский?!” — “Он, он! Великий Иван Константинович собственной персоной! А это — другой великий Иван! — Высоко поднятая свеча осветила лесную поляну. — Шишкин! Ни больше ни меньше!” Ефимыч, наслаждаясь впечатлением, произведенным его

коллекцией, обвел свечой стены: “Теперь у меня вещи, каких в Третьяковке и в Русском музее нет!” Наклонился, прошептал: “На днях Левитана притащат, — доверительно хихикнул, — а цена — всего кило пшенки, пачка сахарку-рафинада и буханец хлеба! Это за Ле-ви-та-на! А мои дуры все прожрать готовы!”

По стенам с картинами металась черная тень хозяина. Бухгалтер приблизил обметанное седой щетиной, изможденное лицо: “Сплю плохо... Боюсь, влезет сюда Наташка, Репина моего украдет. На жрачку сменяет...” Стало страшно. Похоже, старик действительно рехнулся...

Давно окончилась война. В одном из кинотеатров Ленинграда проходила премьера моего фильма. После просмотра — встреча со зрителями. В фойе подошла полная женщина: “Не узнаешь? Я — Наташа”. Искренне обрадовался встрече с девочкой своего детства. Сели выпить кофе в буфете кинотеатра. Спросил: “Как родители?” Спокойно ответила: “Умерли. Оба. Сначала мама. Потом отец. — Помолчала. — Сейчас жалею, что ругала папу за его картины”. Осторожно поинтересовался судьбой собранной им коллекции. Ведь там были подлинные шедевры? Наташа улыбнулась: “После войны прижало с деньгами. Решила продать одну из картин. Пригласила специалиста оценить. Вся папина коллекция оказалась фальшивой. Бедняге всучивали хорошо выполненные копии... Ни одного подлинника не было! За копейки избавилась от проклятых картин, чтобы не напоминали о блокаде... — Задумчиво отхлебнула глоток кофе. — Отцу давали паек по норме комсостава, даже сливочное масло... Кто знает, если бы продукты на фальшивки не ушли, родители, может быть, выжили...”

КОМБАТ

О подлинной причине трагического финала этой истории только догадывался. Фактов, подтверждающих верность догадки, не было. Поэтому фамилии героя — дважды Героя Советского Союза, генерала с несколькими звездами на погонах — не буду называть. Его имя-отчество — Иван Иванович — действительные, не придуманные. Блокадной зимой мое угасающее сознание двенадцатилетнего дистрофика навсегда запечатлело: идет генерал (называлась фамилия Ивана Ивановича), он спасет! Идет генерал..., он поможет! Разорвет смертельное кольцо! Мог ли опухший от голода мальчишка вообразить, что спустя годы будет, выпивая, беседовать с легендарным полководцем?

Прошло время. Стал кинорежиссером. Заканчивалась недолгая политическая оттепель. Но еще просачивались капли правды на экраны и страницы. Работал над сценарием о начале войны. Фильм должен был кончаться утром рокового двадцать второго июня сорок первого года. Замысел будущей картины — правдивый рассказ о причинах катастрофического поражения первых месяцев битвы. Консультантом по рекомендации Генштаба был назначен Иван Иванович.

Широкоплечий, коренастый генерал жил на даче. После войны вождь милостиво разрешил отставным военачальникам на просторных участках построить дачи. Охранял генеральское поместье лохматый дворняга по кличке Комбат. Военное звание собаке присвоил генерал. Как-то гуляя, наткнулся на свору, грызущую одинокого пса. Тот яростно сопротивлялся. Генерал “отбил” хвостца, привел домой, залечил раны. Просторную собачью будку с оконцами сделал сам. Умело мастерил садовые скамейки и столы, охотно возился в саду, подстригая сухие ветки, окапывая землю вокруг кустов и деревьев. Помогал генералу в хозяйственных трудах местный житель, его ровесник, одноногий дядя Коля. Горделиво постукивая по протезу, хвастался: “На ногу командующий поставил. Кабы не он — до сей поры в инвалидной очереди ждал бы”. Старики, бывало, распивали на равных бутылочку. Дядя Коля называл собутыльника “товарищ командующий”, генерал тоже обращался к нему по-военному: “гвардии сержант”.

Ивану Ивановичу пришелся по душе замысел нашего фильма. Я часто приезжал к нему, мы подружились. Он добродушно звал меня почему-то Лешкой. Будучи по природе молчуном, неожиданно красочно рассказывал такие подробности военных событий, о которых я никогда не читал и ни от кого не слышал.

Генеральская речь, сдобренная затейливыми матюжками, всегда произносимыми к месту, была образна и афористична. Однажды, слушая мои жалобы на вредных чиновников Госкино, хрустнул

любимым малосольным огурчиком: “Брось! Наверняка и среди них есть стоящие ребята. Хороших на свете ровно столько, сколько сам сумеешь найти!” Заметив на моей щеке свежую царапину от бритвы, укорил: “Торопись! Бриться надо не спеша, с удовольствием!” Как-то, вроде между прочим, обронил: “Бога, конечно, нет. Но верить в это нельзя...” Ловко разделявая сухую воблу, задумчиво произнес: “Вобла — не еда. Вобла — занятие...” Я любил слушать генерала, запоминал его меткие забавные изречения.

Ивану Ивановичу нравился мой первый фильм “Жаворонок” о побеге наших пленных танкистов с немецкого полигона смерти. Деликатно осведомился: “Ты свое кино можешь сюда привезти? В клубе договорюсь, покажут. Односельчан порадуем”.

В сельском клубе организовали внеочередной сеанс. Небольшой дощатый зал был забит зрителями. На сцену, встреченный дружными аплодисментами, вышел генерал: “Пока помним погибших, они живы...”

Поздно вечером распаренные после баньки, истопленной дядей Колей, выпивали. Генерал пил и закусывал аппетитно, умело, с гвардейским шиком. Опрокинув рюмку, вздохнул: “Сколько ребят угробили за войну! И каких! — Помолчал, снова выпил. — Жуков людей не считал. Крутой мужик! Бывало, спорили. Ругал меня. Слюнтяем обзывал! — Тяжело грохнул кулаком по столу. — После наступления в полках по сто человек оставалось!” Залпом глотнув водки, крикнул адъютанту: “Тащи парадный мундир!”

Щеголеватый, с тонкими усиками капитан вошел, почтительно держа перед собой увешанный орденами генеральский китель. Никогда не видел так близко боевых наград. Сияли ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, иностранные звезды и кресты. “Потаскай такой иконостас!” — хмыкнул генерал, разглядывая мундир, будто впервые его видел. Зло хохотнув, предложил мне: “Примерь! Узнай, почем фунт лиха!” Адъютант послушно накинул зазвеневший мундир. Наверно, подобное испытывал средневековый рыцарь, когда оруженосец обряжал его в стальную кольчугу. Плечи буквально согнулись под тяжестью многочисленных наград. Генерал, хрипло дыша, ткнул жестким пальцем в сверкающие ордена: “Все кровью полито! Перед усатым выслуживались! — громко, неистово выматерился. — По своим пацанам к рейхстагу топали!”

На шум вбежала Ангелина — пухлая, еще молодая генеральская жена: “Папочка, тебе вредно волноваться! Пойдем баиньки...” — гладя, как маленького, опьяневшего мужа, увела его.

Белокурая генеральша с высокой лакированной прической и ярким маникюром походила на бойкую буфетчицу из офицерской столовой. Встретились они на войне. Вначале, видимо, возник обычный фронтной роман хорошенькой фельдшерницы и пожилого военачальника. Позже Ангелина перешла из разряда ППЖ — полевой походной жены — в ранг законной супруги. Преувеличенно ласковое обращение с пожилым мужем не вызывало доверия. Ее приторные “папочка” и “Ванечка” казались фальшивыми.

Стройный исполнительный адъютант в чине капитана тоже казался слишком вежливым и послушным. Всегда бесшумно появлялся и так же бесшумно исчезал. Однажды, глянув на замершего у порога, потом неспешно скользнувшего за дверь адъютанта, генерал невесело усмехнулся: “У нашего Петрушки ушки на макушке... Своих ординарцев всегда сам отбирал. Этого вместе с дачей выдали”. Какому ведомству служит Петя, опытный командарм, конечно, понимал.

Удивляло, что пронизательный старик, видящий, как говорится, “на аршин под землю”, не замечал того, что творится рядом. Характер отношений красавчика-адъютанта и полногрудой генеральши был ясен. Случайно увидел: раскрасневшаяся блондинка сбегала по лестнице, поправляя взлохмаченную прическу. За ней, затягивая ремень, спускался франтоватый капитан... В коридоре наткнулся на целующуюся в засос парочку. Генеральша, нахально подмигнув, хохотнула, выпорхнув из капитанских объятий... Было обидно за мудрого, но наивного, как многие пожилые мужья, генерала.

Однажды разразился скандал. Виновником стал Комбат. Пес вошел, пачкая пол грязными лапами.

— Пошел! Пошел вон, Комбат! — стала гнать собаку хозяйка.

— Не шугай пса, Ангелина, — строго буркнул генерал.

— Нечего ему в доме делать, — раздраженно огрызнулась супруга.

— Здесь и его дом! — отрезал генерал.

— У Комбата, товарищ генерал, извините за слово, конура есть, — иронично заметил адъютант.

— Поговори! — страшно рыкнул старик. — Он — боец! А ты — лизоблюд!
В конуре твое место! — вышел, ударив дверью так, что с буфета слетели на пол чашки.

Ангелина присела, испуганно подбирая осколки. Бледный адъютант, схватив веник, бросился помогать. Масштаб генеральского гнева настораживал...

Через несколько дней мне позвонил адъютант: “На проводе генерал”. Иван Иванович, кашляя, пригласил завтра обязательно приехать к нему. На мое сомнение, стоит ли беспокоить его, учитывая плохое самочувствие, прокашлялся, буркнул: “Вот и полечимся! — Помолчав, добавил: — Делай, что старшие говорят. Завтра меня маршал навестит. Николай Николаевич. Познакомлю”. Кто такой Николай Николаевич, знал. До войны маршал был одним из руководителей Наркомата обороны.

Около дачи рядом с черной “Волгой” генерала стояла величественная “Чайка”. Простуженный, но веселый генерал представил меня высокому бритоголовому маршалу. За щедро накрытым столом “бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе сражались они”... Звучали имена и прозвища знаменитых соратников, номера армий, корпусов и дивизий, уточнялись даты войсковых операций. Холеный, с дореволюционной выправкой гость, благовоспитанно орудуя вилкой и ножом, произнес:

— Иван поведал, что сочиняете. Никому, кто будет рассказывать — война началась неожиданно, не верь! Вранье! В субботу двадцать первого июня около двенадцати ночи позвонил нарком Тимошенко: “Почему на дачу не уехал?”

У телефонов дежуришь? Нечего панику разводить. На бдительных Хозяин сердится!” Приказы надо выполнять. Уехал за город. В два ночи разбудил порученец: “Товарищ генерал, ЧП!” У меня на даче была связь со всеми округами страны. Один за другим сообщают: от Балтики до Черного моря интенсивная бомбардировка! Потом почему-то стали писать, что бомбить начали в четыре утра. В два ночи ударили! Позвонил в Наркомат. Тимошенко меня выгнал, а сам в кабинете. Докладываю. Отвечает: “Информацию имею. Приезжай”. Вхожу. Подвигает большой блокнот с грифом “Нарком обороны”: “Пиши!” Написал. Прочел, карандашом подтолкнул свой блокнот: “Подпиши. Можешь идти”. Спрашиваю: “Приказ открывать огонь по немецким самолетам будет?” Накануне разослали очередную секретную инструкцию: на провокации не поддаваться, огня по нарушителям сухопутной и воздушной границ не открывать! Тимошенко встает, кроет матюгом — стены трясутся. “Тебе сказано идти? Вот и иди... — посылает к такой матери, о которой я никогда не слышал... Сел, зажал башку руками. — Хозяин лично распорядился: огня не открывать! Будить его не могу. Понимаешь? Не могу!”

Было тихо. Потрескивали дрова в камине, мерно тикали стенные часы — трофей, привезенный из Германии.

— Да... — сишло сказал генерал. — Вроде не трусы были, а Усатого боялись больше Гитлера...

Маршал побарабанил пальцами:

— Потом узнали: некоторые все же, несмотря на категорический запрет, открывали огонь по самолетам агрессора... — Усмехнулся: — Когда лупят по голове, начинаешь думать сам!

Рассказ маршала подсказал название и финал фильма. Сценарий мы назвали “Огонь!”. Утром двадцать второго июня герой картины командир дивизии, нарушая приказ наркома, яростно

командует зенитчикам: “Огонь!” В первый час войны сбит первый самолет врага. Корежится в дымном пламени бортовая свастика... Победу принесло мужество тех, кто бесстрашно принимал решения.

Мы заканчивали работу. Регулярно, по делам и просто так, навещал Ивана Ивановича. Генерал болел, полеживал, исхудал, постарел. Привез тщательно отпечатанный, переплетенный сценарий для официального отзыва. Генерал — нахохленный, в коротких, обрезанных валенках, накинув на плечи ватник, зябко сидел у горящего камина. У его ног, преданно поглядывая на хозяина, лежал Комбат.

Никакого генеральского величия в старике не было. В своем потертом ватничке он походил на обычного сельского работягу. Ангелина и капитан накрывали к обеду стол. Он подавал посуду и приборы, женщина расставляла их. Генерал листал сценарий, негромко постукивали тарелки, звенели ложки и вилки. Адъютант и генеральша иногда перешептывались, еле слышно шелестел смешок Ангелины... И вдруг старик молниеносно, страшно зыркнул на жену и адъютанта. Так в клетках зоопарка дряхлые пернатые хищники, внезапно подняв веко, сверкают молнией грозного зрака. Тогда понимаешь: орлы всегда остаются орлами. Генеральский взгляд был безжалостным — смертельный выстрел в упор. Похоже, старик все видит и все знает, но почему-то мирится с происходящим...

Увез краткий, весьма доброжелательный отзыв консультанта. Судьба сценария складывалась плохо. Слабая оттепель заканчивалась, наступали заморозки. Сталин снова становился почти родным и любимым. Правда о войне — запретной. Работу над фильмом прекратили.

Несколько раз звонил генералу, телефон глухо молчал. Сел за руль недавно купленной машины, поехал на дачу Ивана Ивановича разузнать, в чем дело.

На месте генеральского дома была куча обгорелого мусора. Среди черных обугленных балок сиротливо торчали кирпичные скелеты печных труб. Руины походили на военные пожарища. Среди почерневших стволов виднелась уцелевшая закопченная собачья конура. Из нее вылез отощавший грязный Комбат. Трусцой, принохиваясь, обежал пожарище. Присел, подняв морду, жалобно заскулил...

Скрипя протезом, подошел дядя Коля. Вытряхнул содержимое целлофанового пакета в собачью миску.

— Дом полыхнул ночью, месяц назад. — Дядя Коля подвинул валенком миску к морде собаки. — Жри, сирота.

Закурили, старик покашлял:

— Болел командующий, задыхался. А в тот последний вечер веселый был. Шутковал. Вместе яблони на зиму ельничком укутывали... Попрощались. У калитки генерал окликнул: “Возьми Комбата, прогуляй. Утром приведешь”. — Старик, сокрушенно вздохнув, потрепал лохматый загривок собаки. — К себе взял, улег обратно. Караул несет. Шибко по ночам воет... — Протянул жесткую ладонь. — Бывайте.

Стоя над пепелищем, думал: приговор, не подлежащий обжалованию, вынес и осуществил сам генерал.

СТАКАНЧИКИ ГРАНЕНЫЕ

Не могу сказать, что вырос, как некоторые театральные или кинодети, за кулисами сцены или в студийных павильонах. Но иногда отец брал меня на съемки. Мы только вернулись из эвакуации в Ленинград. Отец демобилизовался и снова работал на “Ленфильме”. Снималась картина “Морской батальон”. Еще шла война, в городе было трудно с электричеством. Киностудии давали свет только по ночам. Упросил отца, и он взял меня на ночную съемку.

Громадная пустота павильона, резиновые кабели, рельсы и штативы, шипение зажигающихся

приборов заворачивали. Стояла небольшая декорация военного блиндажа. Стены из настоящих бревен, в углу настоящий пулемет “Максим”. Главного героя, боевого моряка, играл знаменитый Андрей Абрикосов. Его любимая девушка-санитарка, тяжело раненная, лежала укрытая шинелью на дощатом топчане. В блиндаж вводили пленного немца. Его, кажется, играл эксцентричный Мартинсон. Герой Абрикосова, откинув с изуродованного лица любимой шинель, должен был яростно сказать немцу: “Смотри и запомни!” Вот и все, что нужно было снять за ночную смену.

Но — скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Впоследствии личный опыт убедил — легких кадров не бывает. И в ту ночь начались обычные предсъёмочные проблемы. Бревенчатая стенка декорации мешала проезду операторской тележки. Не “заморожено” оконце блиндажа. Подымали топчан, где лежала раненая. Поскольку электроэнергию экономили, приборы зажгли в последнюю минуту. Быстро уточняли свет. Знаменитый артист поежился: “Смерз, аж до костей. Надо бы глотнуть”. Побежали, раздобыли. Абрикосов залпом опрокинул половину граненого стакана.

Громко щелкнула хлопушка. “Начали!” — скомандовал отец. Часовой ввел пленного. Абрикосов трагически откинул шинель с лица раненой, грозно повернулся к немцу, пророкотал:

— Смотри! — после неловкой паузы жалобно произнес: — Черт! Забыл...

Зашипели гаснущие диги. Отец ласково подошел к артисту:

— Андрюша, запомни, что говоришь “запомни”!

Абрикосов виновато кашлянул:

— Сделаем в лучшем виде!

Решительно приказал помрежу:

— Полстакашка, живо! — Лихо глотнув, подмигнул отцу: — Полный порядок. Командуй!

Снова прозвучало традиционное “Мотор!” Снова артист шикарным жестом откинул шинель, яростно произнес:

— Смотри! И... — сконфуженно выматерился. — Мать твою! Опять забыл!

Кто-то хихикнул. Отец потребовал полной тишины. Абрикосов зябко поежился; намекнул, что неплохо бы согреться. Граненый стакан был стремительно опорожнен.

Немец терпеливо ждал. Раненая покорно лежала под шинелью. Абрикосов обтер крупный рот рукавом бушлата:

— Поехали! — Неожиданно попросил: — Можно, сам скомандую “Мотор!”?

Отец вздохнул:

— Черт с тобой, валяй!

В павильоне установилась гробовая тишина. Еле слышно потрескивали диги. Громадный Абрикосов зычно скомандовал: “Мотор!” С актерским блеском проделав все, что нужно, страшно рыкнул на притихшего немца: “Смотри! И...” — вместо проклятого “запомни”, на долю секунды запнувшись, въехал несчастному Мартинсону в ухо.

— Bravo! — закричал отец. — Так даже лучше! Молодец! Еще один такой же дубль!

Мартинсон, держась за щеку, жалобно прошепелявил:

— Я с этой сволочью больше в кадр не встану...

Потом обидчик и пострадавший обнялись, погрелись из граненых стаканов. С общего согласия мистическое “Запомни!” заменили эффектным, но уже заранее отрепетированным ударом. Эпизод благополучно сняли.

ФРОСЯ

Кажется, этот случай упомянул мой отец в книжке воспоминаний о режиссере Фридрихе Эрмлер. Мальчишкой я тоже был свидетелем забавной встречи с любимой актрисой. Нравились ее имя и фамилия — веселые, звонкие, будто звук колокольчика — Франческа! Гааль! Фильмы с ее участием — “Маленькая мама”, “Петер” — были смешны и увлекательны. Изящная маленькая фигурка актрисы в широченных мужских штанах, обаятельная, лукавая мордочка, зажигательные песенки — очаровывали. Советские мальчишки и девчонки радостно пели слова лихой песенки Франчески: “Хорошо, когда работа есть!” Актриса была своей, понятной, близкой, хотя говорила на чужом языке. Русские титры с переводом даже мешали.

Никаких подробностей биографии Франчески мы не знали. Не знали, что Гааль — еврейка, что при немецкой оккупации пряталась в подвале Будапешта. Вышла в мужских брюках к советским солдатам. Когда спела песенку “Петера”, наши ребята поняли, кто перед ними. Маршал Ворошилов переправил знаменитую артистку в СССР.

Услышав от папы, что любимая Франческа приезжает в Ленинград и будет гостьей “Ленфильма”, упросил взять меня на студию. Чудо сбылось!

Тихонько сижу в углу кабинета директора студии, сухощавого Глотова. Война окончилась совсем недавно, и следы зловещей поры еще видны: с окон не содраны бумажные крестообразные ленты, стены кабинета обшарпаны, на порванных обоях — подтеки. У дверей — ящики с песком, лопаты, висят брезентовые пожарные робы. На длинном, крытом зеленым сукном с чернильными пятнами столе — скудный “банкетный” ассортимент: бутылки водки, граненые стаканы. Кроме соленых огурцов и крупно нарезанной колбасы, никаких деликатесов не было.

Знаменитую гостью ждали немногочисленные ленфильмовцы, среди них режиссер Эрмлер. Было тихо и скучно. Включенное радио бубнило последние известия. Директор студии Глов, озабоченный предстоящей встречей, методично шагал вдоль стола, поглядывая на часы.

Распахнулась дверь, и, сопровождаемая человеком в кожаном пальто, появилась тщедушная старуха в шляпке с вуалью. На ее руках были длинные, до локтя, черные перчатки. Она зябко куталась в широкую темную накидку. Я был ошарашен. Где моя веселая озорная Франческа?! Где забавная “маленькая мама”?! Где бойкий “Петер”?! Какое отношение эта чопорная скучная тетка имеет к моей экранной любимице? Из-за спины человека в кожаном пальто появилась девица в погонах — переводчица. Села рядом с гостьей. За столом не стало веселее...

Глов провозгласил тост за мир во всем мире. Все согласно чокнулись. Гостья брезгливо слегка пригубила, оставив след помады на краю стакана. Громко щелкнув военной зажигалкой, прикурила папиросу из пачки “Беломорканала”, выпустив дым через сетку вуали.

Директор студии, испытывая ответственность за атмосферу дипломатического приема, вновь пробормотал тост. Он процитировал слова вождя мирового пролетариата: “Из всех искусств для нас важнейшим является кино”. Поэтому Глов и предложил выпить за великого Ленина! Переводчица быстро шептала на ухо гостье. Дама без энтузиазма, вежливо кивнув, сделала маленький глоток. Снова повисла тяжелая пауза.

Тогда Эрмлер, взяв бутылку водки, подошел к скучной тетке, налил полный стакан, легко шлепнув даму по плечу, наклонился, по-свойски подмигнув: “Слушай, Фрося, сними шляпу, прими стаканчик и будь человеком!”

Все замерли. Директор подавился соленым огурцом и в ужасе застыл.

Переводчица попыталась что-то шептать, но дама, не слушая, громко захохотала, хлопая маленькими ладошками: “Фрося! Фрося!” — и залпом опрокинула стакан водки. Откинулась на

спинку стула, продолжая звонко смеяться, хлопать и скандировать: “Фро-ся! Фро-ся!” Стянула с рук длинные перчатки, скинула шляпку, подскочив к Эрмлеру, вlepила ему звонкий поцелуй: “Браво! Браво!”

За столом засмеялись. Директор испуганно посмотрел на непроницаемое кожаное пальто. Франческа заметила в углу пыльный рояль. Со стуком откинув крышку, крутанулась на рояльном стульчике, лихо прошлась по клавиатуре. “Хорошо, когда работа есть!” — звонко запел маленький “Петер” свою знаменитую песенку. И хотя актриса пела по-немецки, все дружно подхватили по-русски слова любимой мелодии. Запела даже переводчица. Молчали только директор и человек в кожаном пальто.

Я впервые ощутил чудо актерского перевоплощения. Исчезла скучная тетка в дурацкой шляпке, длинных перчатках; снова появилась задорная Франческа Гааль! Сейчас понимаю — стал еще свидетелем урока режиссуры, данного Фридрихом Эрмлером.

В тот летний вечер сорок пятого года актриса еще долго с удовольствием пела. Потом кто-то из ленфильмовцев сел за рояль. Танцевали. Запели военные песни. Франческа с милым акцентом, радостно, вместе со всеми пела “Катюшу”. Плясала с Эрмлером, кокетливо грозя пальцем: “Фро-ся!”

ПРИЕМ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Фильм “Великий перелом” снимался под Митавой. В съемках участвовали войска одного из прибалтийских фронтов и пленные немцы, которых к концу войны было навалом. Основные персонажи фильма — генерал-полковники, генерал-лейтенанты, главный же герой носил звание генерал армии. По договоренности между постановщиком картины знаменитым режиссером Фридрихом Эрмлером и военным начальством артисты после съемок ходили в генеральских мундирах с высшими воинскими орденами. Вживались, так сказать, в роли. Киногруппа жила в специально приспособленных железнодорожных вагонах. Имелся даже вагон-ресторан. Кино тогда еще было “важнейшим из всех искусств”, и военное командование благосклонно относилось к киношникам, всячески помогая в съемках.

Было решено пригласить генералитет фронта на дружеский банкет. В условленный день и час визита вокруг кинопоезда мирно пощипывали травку местные козы, стрекотали кузнечики. Было тихо и безлюдно. Через несколько минут должны прибыть высокие гости. Никаких признаков готовности к торжеству не видно. Кинопоезд не украшен флагами и приветственными лозунгами. На ступенях одного из вагонов проводница в форменной тужурке и фуражке, лениво сплевывая шелуху, грызла семечки.

Завывая мощными моторами, подкатила кавалькада машин. Завизжав тормозами, вереница остановилась. Кorteж из камуфлированных “виллисов” возглавляли шикарные трофейные лимузины. Ловко выскочил щеголеватый адъютант, предупредительно распахнул дверцу сияющего лаком “опеля-адмирала”. Из автомобиля вышел командующий фронтом, тогда еще генерал армии, в скором будущем маршал, Баграмян.

Проводница продолжала невозмутимо грызть семечки, сплевывая шелуху в сторону приехавших. Хлопали дверцы машин, появлялись командармы, комкоры, комдивы. Проводница лениво потянулась:

— Ребята, чего вы так рано?

За ней на ступенях, в белом колпаке и фартуке, вытирая руки о полотенце, явился повар.

— Аркашка, — томно спросила проводница, — обед готов? Наши босяки сегодня раньше приперлись.

Повар демонстративно щелкнул крышкой карманных часов:

— По расписанию до кормежки еще часик. Подождут.

Генералы недоуменно переглядывались. Адъютант командующего подскочил к проводнице, тихо, но внушительно сказал:

— Что происходит? Не понимаешь, кто приехал?

Проводница, отряхнув с коленей шелуху, пренебрежительно оглядела генералитет:

— Загримуетесь, погоны нацепите, выкаблучиваетесь. А все одно — говны.

Ошарашенный адъютант, возмущенно махнув рукой, ретировался. Командующий фронтом, усмехаясь, что-то сказал стоящему рядом генералу. Тот пожал плечами и натянуто улыбнулся. Подходили ничего не понимающие приглашенные военачальники. Командующий фронтом круто повернулся:

— Благодарим за прием. По машинам, товарищи!

— Стойте! — отчаянно закричал повар. — Мы вас со своими генералами познакомим! У нас их полный вагон!

Динамики загремели торжественным маршем, из поезда высыпали актеры в генеральских мундирах.

— Р-р-рав-вняйсь! — командирским басом скомандовал артист Державин. Bravo вскинул ладонь к козырьку генеральской фуражки. — Товарищ командующий фронтом! Съёмочная группа фильма “Великий перелом” выстроена для торжественной церемонии. Докладывает командующий парадом генерал армии по роли, народный артист республики Державин. Ура!

— У-р-р-ра! — дружно грянули артисты.

— Равнение направо! — лихо командовал Державин. — Шагом марш!

Гремела музыка. Печатая шаг, маршировали артисты. Появилась съёмочная группа, возглавляемая Эрмлером, с хлебом-солью в руках. Генералы аплодировали.

Эрмлер комментировал в микрофон, представляя шагающих:

— Народный артист республики Андрей Абрикосов, по роли генерал-лейтенант. Народный артист Заржевский, играет роль генерал-полковника...

Шествие замыкал человек в солдатской гимнастерке. Когда Эрмлер объявил: “Заслуженный артист Марк Бернес в роли шофера Минутки”, грохот генеральских ладоней заглушил звуки марша. В конце парада отец торжественно провозгласил:

— Командующий нашим кинематографическим фронтом, народный артист Советского Союза, лауреат Сталинских премий Фридрих Эрмлер!

Генералы прокричали: “Ура!” Эрмлер отдал честь: “Служу Советскому Союзу!” Отец продолжал:

— Заслуженный деятель искусств главный оператор Кальцатый! — Аркадий снял поварской колпак, изысканно раскланялся. Гости хохотали, хлопали. — Заместитель директора картины наша очаровательная Тамара. — Отец вывел за руку проводницу.

Самознаева послала генералам воздушный поцелуй.

— Начальник штаба нашего кинофронта, почетный кинематографист, мой друг и соратник по экранным боям режиссер Менакер, — представил Эрмлер отца.

Автором розыгрыша был Фридрих Маркович. Когда обсуждали программу предстоящей встречи,

Эрмлер — любитель шуточных затей — сказал:

— Накормить и напоить генералов каждый дурак сможет. Выпивкой их не удивишь. Нужно что-то “эдакое”! — и придумал только что разыгранное представление.

Эрмлер и Баграмян обнялись. Генерал, пристально взглядываясь, отодвинул режиссера:

— Ты правда Эрмлер? Вы, киношники, — такие шутники! Может, кого-то под тебя загримировали?

— Честное партийное слово, — серьезно ответил Фридрих Маркович. — Я настоящий. — Дотронулся до лацкана пиджака с орденом Ленина. — И орден настоящий.

Тогда комфронта спросил доверительно:

— Товарищ Эрмлер, а у твоих генералов ордена настоящие?

— Специально для съемок изготовлены. На Монетном дворе, — таинственно, будто разглашая государственную тайну, сообщил Эрмлер.

Все закончилось роскошным банкетом в вагоне-ресторане. Закуски, конечно, готовили настоящие, специально приглашенные повара. Гости были в восторге от приема. Особенно им понравилось начало.

ВСТРЕЧА СО СТАЛИНЫМ

Вместе с отцом я оказался в кремлевском кабинете Сталина. Все было как на кадрах кинохроники, живописных полотнах или газетных фотографиях: дубовые панели стен, портреты Суворова и Кутузова, громадный, покрытый зеленым сукном стол для заседаний, приставленный к письменному, настольная лампа под матовым абажуром, бронзовый чернильный прибор. В большом окне виднелись очертания Спасской башни. Тихо тикали напольные часы.

Вдоль стола медленно прохаживался он.

Я замер, взглядываясь в знакомое по тысячам портретов лицо, золото маршальских погон, звезду Героя на мундире. Сталин был еще величественнее и красивее, чем я его представлял.

— Это мой сын, — сказал отец.

Сталин протянул руку.

— Здравствуй, сын, — сказал с грузинским акцентом. — Как живешь?

— Хорошо, товарищ Сталин, — еле слышно выдохнул я.

Сталин негромко рассмеялся:

— Это хорошо, что хорошо. — Взяв двумя пальцами за подбородок, пристально глянул в мое лицо. — Товарища Сталина любишь?

— Да, — обмирая, ответил я. — Очень...

— Молодец! — Вождь щелкнул пальцами. — Товарища Сталина надо любить.

В кремлевский кабинет по-хозяйски вошел кинорежиссер Эрмлер, потрепал меня по голове:

— Пришел на экскурсию? — Дальше произошло нечто потрясающее. Фридрих Маркович по-свойски ткнул в живот вождя. — Хочешь перекусить? Я скажу, принесут.

Сталин отказался. Эрмлер взял за локоть отца:

— А мы пойдем пожуюем.

Они вышли. Я остался. Притулясь к стене, наблюдал за Сталиным.

Посещению кремлевского кабинета предшествовало напряженное ожидание и неукоснительное выполнение поставленных условий. Эрмлер снимал фильм “Великий перелом”. Отец был вторым режиссером. По сценарию картина начиналась в кабинете Сталина. Вождь мудро наставлял генерала, поручая командование фронтом. Роль Сталина тогда разрешалось играть только Михаилу Геловани. Эпизод был небольшой. Отец возмущался: “Этот мерзавец Геловани требует за два съемочных дня тридцать тысяч!” Сумма по тем временам астрономическая. Известно, что со Сталиным и даже с тем, кто его изображал, не спорили. Несмотря на проклятья отца, поносившего корыстного актера, пришлось выплатить требуемый гонорар.

Узнав, что будет съемка Сталина, умолил отца взять меня на студию. Было сказано, что лишь при отличном поведении, высоких школьных оценках и беспрекословном выполнении домашних обязанностей буду взят на съемку. Я старался, предвкушая встречу с вождем.

Наконец наступил великий день. За отцом пришла студийная машина, и мы поехали на “Ленфильм”. Мне казалось, везут в Кремль. Для меня, как почти для всех безбожных мальчишек Страны Советов, Сталин был вроде бога.

Лицезреть если не его самого, то хотя бы его живое отражение было чудом.

Отец отворил тяжелую дверь павильона, сказал сидевшей за столиком тетке:

— Это мой сын. Разрешение есть.

Тетка нацепила очки, полистала бумажки, строго спросила:

— Фамилие ваше?

— Моя, — подтвердил папа.

— Лет сколько? — продолжала допрос страж порядка.

— Четырнадцать, — робко сообщил я. Вдруг что не так? Не пропустит?

Тетка недовольно разрешила:

— Проходите.

И вот я стою в углу кабинета генералиссимуса. Отсутствие четвертой стены и потолка не мешали магическому чуду. Сталин, не обращая на меня внимания, прохаживался вдоль стола. Вынул из кармана мундира пачку папирос “Казбек”. Удивило, что точно такие же курил отец. Постучал папиросой о коробку, чиркнул обыкновенной спичкой. С удовольствием затянулся. Поразило, что струйки дыма шли через нос!

Скрипнула дверь павильона. Вошел в форме и фуражке начальник пожарной охраны. Недовольно посмотрев на курящего, строго приказал дежурной:

— Почему артист в павильоне курит?! Наведите порядок!

Тетка послушно встала:

— Слушаюсь, товарищ начальник! — Сделала несколько шагов, потопталась. Снова шагнула, остановилась. Сокрушенно вернулась. — Товарищ начальник, не могу им замечания...

Пожарник, сердито хмыкнув, деловито подошел к Сталину:

— Товарищ, курить прошу в коридор. В павильоне правилами противопожарной охраны

категорически воспрещается!

Потрясенный непостижимым унижением небожителя, я застыл. Наивно верилось: грозная тень вождя простирается и над тем, кто его изображает. Чудовищный гнев сейчас испепелит наглеца, посягнувшего на гения всех времен и народов!

Кино-Сталин покорно вышел в коридор...

Случай в павильоне поколебал мою веру в божественность Иосифа Виссарионовича. Когда готовый фильм “Великий перелом” показали настоящему Сталину, эпизод в кремлевском кабинете ему категорически не понравился. Геловани, изображавшего Сталина, генералиссимус, конечно, видел неоднократно. Почему-то в этот раз артист не угодил оригиналу.

— Разве я такой красавец? — спросил Сталин. — Разве у меня такие глупые глаза?

Эпизод вырезали, и картина начиналась выездом генеральской машины из ворот Спасской башни. Где и у кого побывал генерал, было ясно.

Бедный Геловани больше никогда не щеголял в мундире генералиссимуса. В фильме “Третий удар”, вышедшем вслед за “Великим переломом”, роль Сталина уже исполнил артист Алексей Дикий. И говорил он с экрана без грузинского акцента.

Мальчиком сын Сталина Вася поведал сестренке Светлане великую тайну:

— Наш папа в молодости был грузином.

ПОРТРЕТ

Неподалеку от Ленинграда, близ Стрельны, находилась “Володарка” — детская трудовая колония. Обширное пространство с руинами монастыря и полуразрушенным дворцом графов Зубовых — нечто вроде Ноева ковчега, где “каждой твари по паре”. За рядами колючей проволоки — сотни бритоголовых мальчишек и небольшое количество взрослых заключенных — мужчин и женщин. В придачу — сотня немецких военнопленных. Пацаны — от двенадцати до шестнадцати лет, именуются “воспитанниками”. По сути, они — заключенные. Среди них шкеты, осужденные на равный их возрасту срок.

“Воспитанники” половину дня сидят за школьными партами, потом вкалывают на производстве. Мастера в столярном, литейном, слесарном цехах — взрослые заключенные. Женщины трудятся в бане, парикмахерской, столовой. Немцы восстанавливают разрушенные здания, копают траншеи для водопроводных труб и электрокабеля. Некоторые пленные используются по специальности — чинят обувь, часы, изготавливают деревянные рамки и шкатулки.

В кирпичной пристройке рядом с баней есть даже мастерская живописи, где творят два немца. Будучи “воспитанником” колонии, тружусь подмастерьем у пленных художников. О печальном периоде юности, приведшим в эту мастерскую, написал в книжке “Волшебный фонарь”, поэтому не буду вдаваться в подробности своей биографии.

За мольбертами, попыхивая самодельными трубками, сидят два мастера — желчный ворчун, педантичный Ганс Коопман и тихий, добродушный, большеглазый Отто Трагер. Коопман хвастается, что закончил мюнхенскую Академию художеств. Глядя на его прилизанные безвкусные копии с картин известных русских живописцев, в это трудно поверить. Работы щедушного Трагера гораздо привлекательнее, живее...

На календаре 1947 год. Страна охвачена предъюбилейной лихорадкой, в ноябре — тридцатилетие Октябрьской революции! В юбилейном году все “красные дни” отмечают с особым размахом. Ближится первомайский праздник; шагая в ногу со временем, колонийское начальство решило щедро украсить территорию. Понимая, что на колючую проволоку, идущую вдоль шоссе, нельзя повесить красные флаги и лозунги, основное праздничное убранство задумали произвести на фасаде пятиэтажного служебного дома.

В бане круглосуточно строчили швейные машинки. Из рулона красного кумача, раздобытого бравым начальником снабжения, шили флаги, гирлянды маленьких флажков, длинные транспаранты. Наша мастерская тоже перешла на “военное положение” — работали после отбоя, что в обычные дни строго запрещалось. На печурке грелись кастрюли с тертым мелом и столярным клеем. Полы устланы красными лентами, на которых мы писали лозунги. Немцы боялись грамматических ошибок, мой авторитет значительно повысился — только после моей проверки они облегченно вздыхали.

В мастерскую заявилося все колониийское руководство: от начальника колонии — приземистого, кривоногого, по кличке “Витек несправедливый” — до оперуполномоченного, узколищевого, бледного старшего лейтенанта. Когорту замыкал суетливый, подобострастный комендант рабочей зоны, заключенный Шабельник. Он, бывший подполковник-интендант, проворовался и загремел на десять лет. Носил, как все, ватник, но упрямо не снимал потертую военную фуражку со следами звездочки. Шабельник — подхалим и стукач. Лагерь ненавидел его, но побаивался.

Наша мастерская получила ответственное задание. Мы должны нарисовать громадный портрет самого товарища Сталина. Обрамленный еловыми ветками, перевитыми красными лентами, он займет центральное место в праздничном убранстве административного здания. Заместитель начальника колонии бережно достает из портфеля несколько фотографий вождя: в мундире генералиссимуса, в простом кителе, в шинели, в фуражке и без. Долго, многозначительно обсуждают разложенные на столе драгоценные изображения, выбирают мундир. На обороте фотографии начальник колонии торжественно, будто подписывая приказ о наступлении, размашисто пишет: “Утверждаю”.

Дальше возникает диспут о размерах портрета. Жарко спорят о количестве метров в длину и ширину... Услужливо протискивается комендант Шабельник, подобострастно протягивая картон с эскизом праздничного оформления:

— Проект утвержден лично вами, гражданин начальник колонии! — Вытаскивает рулетку, лихо измеряет рисунок. — В масштабе портрет тов... — осекается, чуть не назвав Сталина “товарищем”. Благоговейно повторяет: — Портрет! Имеет пять метров пятьдесят сантиметров ширины и десять метров пятнадцать сантиметров высоты! — со щелчком закрыв рулетку, скромно отступает в сторону.

Начальник колонии хмыкает:

— Считал бы ты, Шабельник, с такой точностью казенные денежки, не схлопотал бы десятку!

Окружение громко смеется, комендант согласно хихикает в кулак.

Немцы, замерев, вытянулись. Стоят — руки по швам, плохо понимая происходящее. Начальник колонии, подняв фото вождя, грозит немцам коротким пальцем:

— Смотрите, фрицы, чтобы был как две капли похож! Напортачите — я вам такой Сталинград устрою! Пожалеете, что родились!

Немцы, вытаращив глаза, испуганно слушают, по-солдатски щелкают каблуками:

— Цу бефель!

Держа кипу красного кумача, с хохотом вбежали работницы бани:

— Новую порцию малюйте! — Увидев высоких посетителей, застыли на пороге.

Пухленькая круглощекая Вера, стесняясь тюремной стрижки “наголо”, заматывала голову наподобие чалмы полотенцем. Нелепо прикрыв руками лицо, она хотела убежать. Но пожилая напарница дернула ее за полу:

— Здравия желаем, граждане начальнички!

Весь лагерь знал — Шабельник по уши втюрился в недавно прибывшую Веру. Девушка брезгливо отмахивалась от назойливых ухаживаний пожилого коменданта. Зато, похоже, влюбилась в молчаливого художника Отто Трагера. Забегала в мастерскую, принося то баночки с кашей, то половинку батона и несколько кусков сахара из передачи. Краснея, молча смотрела на пленного, трогательно звала его “Отточка”. Трагер растроганно благодарил за подношения: “Данке шон, майн либер фройлен!” Она смеялась: “Отточка, какая я фрейлина?! Я — Верка!” Используя мои скромные запасы немецких слов, Трагер попросил, чтобы Вера принесла свою фотокарточку. Работая тайком вечерами, пряча холст за дровами, любовно написал портрет Веры. К несчастью, в момент вручения подарка в мастерскую ввалился Шабельник. Зло поглядывая на портрет, его автора и потупившуюся Верку, процедил: “Хочешь, сучка, чтобы за связь с фашистом политическую статью намотали?! Устрою!”

Сейчас, в присутствии начальства, Шабельник, выслуживаясь, строго приказал:

— В бане запас неиспользованных простыней. Получите точные размеры полотнища. Шить — не разгибаясь!

К утру с трудом разместили на полу мастерской обтянутый полотном подрамник. Трагер тщательно прочертил клетками фотографию Сталина. Мне поручили туго натянутой веревкой, протертой углем, нанести ровно такое же количество клеток на полотно. Мы втроем карандашами начали перерисовывать лик вождя с фотографии. Трагер занимался лицом. Коопман, высунув кончик языка, старательно копировал погоны, золотую звезду, пуговицы мундира. Мне доверили остальные, менее значительные детали портрета. Трагер, старательно прорисовывая усы генералиссимуса, осторожно спросил:

— Почему ваш Сталин не только “фюрер” (вождь), но и “леэрер” (учитель)?

Объяснил политически неграмотному немцу, что Сталин не просто ведет советских людей к победам, но и учит, как надо жить... Трагер грустно пробормотал:

— Наш фюрер был плохим учителем... Погубил Германию...

Коопман зло прикрикнул на товарища:

— Швайг, думмер менч! — что означало: “Молчи, дурак!”

Роман пухлой Верки и пленного художника бурно развивался. Зайдя в баню отдать постирать к празднику рубашку, около темного закутка наткнулся на страстно целующуюся парочку. Взлохмаченный Трагер, виновато улыбаясь, поспешно выскользнул на улицу. Верка, упав на гору солдатских одеял, неожиданно зарыдала басом:

— Почему я, дура, немца полюбила?! За что меня Бог наказал?! И Отточку моего жалко! — раскачиваясь, всхлипывая, причитала. — К гадалке не ходи, эта тварь Шабельник нас заложит! Отточку — на Северный полюс, а меня, дуру, расстреляют...

Успокаивая, гладил ее, как маленькую, по голове. Она, рыдая, повторяла:

— Как предателя родины... расстреляют...

Через несколько дней колоссальный портрет был готов. Сходство с традиционными чертами образа вождя всех времен и народов было полным. Но Сталин на портрете получился непривычным, не совсем “нашим” — слишком красивым, чрезмерно парадным, почти геометрически точным. Особенно выразительно были прорисованы Гансом Коопманом маршальские погоны, звезда Героя и пуговицы на мундире. Каждая веточка ржи на погонном гербе, зубчики серпа, рукоятка молота и меридианы земного шара изображены с такой скрупулезностью, что рисунок можно помещать в геральдический атлас.

Для процедуры украшения пятиэтажного здания привлекли в основном аккуратных,

исполнительных пленных. Вызвали из Стрельны пожарную машину с раздвижной лестницей. Вывели за зону Коопмана, Трагера и меня. Заодно прихватили Веру и ее пожилую напарницу. Судя по стопке простыней, ножницам, ниткам, иголкам, женщин привели для срочной починки в случае повреждений портрета при подъеме. Мы тоже на всякий случай для проведения экстренных реставрационных работ захватили краски и кисти. Наблюдать за священнодействием прибыл начальник колонии со свитой. Командовал, суетился, проявляя неистовую преданность, комендант Шабельник. Стоя в стороне, внимательно поглядывал узколиций опер.

Благополучно развесили лозунги, флаги и гирлянды маленьких флажков. Самым сложным был подъем и укрепление громадного портрета. Подрамник обвязали канатами, на крышу взобрались немцы. Начали потихоньку, осторожно подтягивать многометровый портрет. Слышались гортанные команды: “Айн, цвай, драй! Нох айн майль! Аллес, цузаммен, камрад! (Раз, два, три! Еще раз! Все вместе, товарищи!)” . Портрет, скрипя и покачиваясь, медленно полз наверх. Немцы снизу закричали: “Генух! Рихтиг! (Хватит! Хорошо!)”

На крыше стали закреплять канаты. Отто Трагер, приложив к глазам щитком ладонь, отошел приглядываясь. Махнув рукой, громко скомандовал. Удивило, что молчаливый немец может так кричать: “Камраден, этвас лингс! (Слегка левее!)” Затем бедняга, оказывая почтение портрету, перестарался, крикнув еще громче: “Фюрер унд лезерер, вениг нидер!” — что означало: “Вождя и учителя немного ниже!”

Все онемели, услышав, что пленный немец назвал Сталина — ФЮ-РЕ-РОМ!

Шабельник, задыхаясь, подскочил к тщедушному Отто, яростно затряс его:

— Ты кого, сука фашистская, обозвал фюрером?! Нашего товарища Сталина?! — забыв о лагерных запретах, назвал вождя “товарищем”. — Товарища Сталина “фюрером”! Убью! Я двадцать лет в членах партии! Не позволю! — Захлебываясь приступом патриотического гнева, кинулся к оперуполномоченному! — Товарищ старший лейтенант, что же это творится?!

— Я тебе не товарищ — гражданин! — холодно процедил опер.

— Виноват, гражданин начальник! — залезбил комендант. — От волнения! Всякая недобитая сволочь отца и учителя “фюрером”?! Расстрелять на месте! — Он снова накинулся на обомлевшего Трагера, бешено тряс его и несколько раз ударил по лицу, разбив до крови нос.

Неожиданно к Шабельнику бросилась разъяренная Верка. Царапаясь, нещадно молотя маленькими кулаками, вопила:

— На фронте бы дрался, гад! Наложил полные штаны и в тылу отсиживался?! А здесь, вояка хренов, на безоружного?! Тварь! Гнида!

Конвоир еле отодрал бушующую Верку от коменданта. Начальник колонии коротко бросил:

— Девку в карцер! Пять суток отдыха!

Трагер, размазывая кровь, подбежал ко мне, суматошно повторяя:

— Их заге нур “фюрер унд лезерер”! Фюрер унд лезерер! (Я сказал всего лишь “вождь и учитель”).

И тут, не понимая всей опасности, я подошел к оперу:

— Гражданин начальник, разрешите обратиться?

Опер удивленно повернулся:

— Чего тебе?

— Можете в словаре посмотреть, — тихо разъяснил я, — “фюрер” по-немецки “вождь”, а “лезерер”

— “учитель”. Немец сказал: “Портрет вождя и учителя”.

Услышав мои лингвистические пояснения, группа начальства ошеломленно умолкла. Стало тихо, как на кладбище.

— Ты, контрик малолетний, заткнись! — вскрикнул Шабельник. — Никому не позволим! Всех — к стенке!

Начальник колонии дал мне коленом увесистый пинок:

— Переводчик! Вали отсюда, пока цел!

Бросил через плечо:

— Немца — на пересыльный пункт. — Презрительно повернулся к тяжело дышащему коменданту.
— Крепи портрет, защитник отечества!

На голове пухлой Верки отрос густой “ежик”, прическа была к лицу, она перестала носить “чалму”. Иногда в ее каморку при бельевой протискивался, распространяя густой запах одеколона, Шабельник с продуктовыми подношениями. Верка, нещадно матерясь, гнала прилипчивого ухажера. Над кроватью висел ее портрет кисти пленного художника. Поглядывая на картину, она вздыхала:

— Лучше Отточки никого нет! Разве несчастный виноват, что он — немец?..

УСЫ

Консультант снимаемого мною фильма “Опознание” — сотрудник международного отдела ЦК партии Всеволод Ежов. Недавно он выполнял те же обязанности на картине “Семнадцать мгновений весны”. Опыта общения с работниками столь высокого ареопага у меня не было. То, что там сотрудничают такие, как Ежов, — умные, образованные, все понимающие, с подлинным юмором люди, не предполагал. Всеволод Дмитриевич состоял в референтах Брежнева по контактам с тогда не очень дружественной ФРГ. Несколько раз, “нажав” на некие таинственные пружины, спасал картину от различных неприятностей, даже отвел угрозу закрытия. У нас сложились добрые, доверительные отношения. Запомнился один из первых вечеров в доме Ежова. Дом этот, так называемый “цекистский” — с уютными вестибюлями, чистыми лестницами, работающими лифтами, вежливыми консьержками. Квартиры в нем были совсем не малогабаритные.

У Севы собрались довольно успешные и высокопоставленные гости. Ухоженные, хорошо одетые люди, конечно, не представляли “высшие эшелоны власти”, но явно находились в достаточной близости от них. Поразил ассортимент домашнего бара. Бутылки с такими этикетками, такой формы и такого содержания видел только в зарубежных фильмах. Еще более поразили фразы гостей, небрежно попивающих редкие напитки. Смелые, вольнолюбивые беседы на кухнях по сравнению с тем, что “несли” номенклатурные гости, казались партсобраниями с утвержденной повесткой дня. Помалкивая, изумленно слушал саркастические реплики, злой юмор, произносимые людьми, хорошо информированными о происходящем в правительственных кабинетах.

Громко рассказывает анекдот:

— Советский посол принимает голливудских звезд — “стар”. Американцы интересуются: “Ваш Брежнев тоже стар? Посол отвечает: “Генсек — супер-стар!” Московская элита снисходительно посмеивается...

Кто-то совершенно серьезно сообщает:

— Министр иностранных дел распорядился в зарубежных представительствах для сотрудников обязательно варить компот из сухофруктов и каждому выдавать по кусочку земляничного мыла.

Спрашивают:

— Зачем?

— Чтобы Родину, сволочи, не забывали!

Знаю, нынче за юмор не сажают, но в многочисленных компаниях такие шуточки опасны... Умный Ежов подошел с бокалом, чокнулся, едва заметно подмигнул:

— Надеюсь, вы понимаете, здесь все — простые советские люди?

Сева познакомил с одним из “простых советских” гостей — высоким, элегантным, скорее “господином”, чем товарищем — Валентином Михайловичем Бережковым. Позже Ежов рассказывал:

— В первые дни войны Бережков, самый молодой сотрудник советского посольства в Германии, благодаря смелости и находчивости спас наших дипломатов от концлагеря. Сделав блестящую карьеру, стал личным переводчиком Сталина. Потом произошла катастрофа — обнаружилось, что отец Бережкова, которого он почти не знал, ушел с немцами из Прибалтики. Этого было достаточно для полного крушения; кажется, даже закончилось тюрьмой. Сейчас Бережков — заместитель главного редактора журнала, издающегося для Америки.

Незадолго перед Новым годом позвонил Ежов. Зная, что у меня есть эстонские друзья, предложил при их помощи встретить вместе с Бережковым праздник в Таллине. Для нас, что было совсем непросто, заказали номера в гостинице “Виру”, в ресторане абонировали стол.

Наступил новогодний вечер. Было почти по-западному красиво, празднично. Горели свечи, искрились бенгальские огни, летали серпантинные ленты, сыпались цветные кружочки конфетти. Бережков приехал с молодой привлекательной женой. Одет был броско, шикарно — яркий клетчатый пиджак, цветная рубашка, галстук-бабочка. Ежов добродушно подтрунивал:

— Валя, пиджачок небось куплен в негритянском квартале? В таких богатые негры щеголяют!

Бережков, не обижаясь, отшучивался:

— Зависть — худший из всех пороков!

Хлопали пробки шампанского, мы шумно веселились. Бережков, скинув американский пиджак, рассказывал игривые анекдоты, флиртовал с моей женой. В зале шумели, хором пели эстонские песни. Хотел что-то сказать сидящему рядом Бережкову, из-за ресторанного шума наклонился к его уху. Неожиданно вздрогнув, он отодвинулся, даже отшатнулся. Невесело усмехаясь, сказал:

— Ты сейчас меня усами пощекотал, как... Сталин. — Помолчав, негромко объяснил: — В Тегеране был личным переводчиком вождя. Напряжение чудовищное. К концу дня падал от усталости... Надо было ловить каждую незначительную реплику Черчилля и Рузвельта и мгновенно сообщать ее Сталину. Прислушивался к тихим хриловатым словам Хозяина и стремительно переводил их союзникам. В короткие перерывы хватал блокнот и судорожно, по памяти, стенографировал сказанное лидерами во время застолья. За день менял по три рубашки — пот прошибал! На обедах, ланчах, ужинах, переводчикам подавали те же блюда, что и боссам. Мы, конечно, ни к чему не притрагивались, были настороже каждую секунду. Вдруг кто-нибудь из “большой тройки” кинет между ложкой супчика какое-нибудь словцо! В перерывах бежали в посольскую столовку, наспех перекусывали. В один проклятый день я так и не успел перехватить хоть сэндвич. Идет очередной протокольный обед. Помираю от голода! Аж голова кружится! Подали роскошный бифштекс с луком. Запах! Лидеры молча жуют. Не выдержав, отрезал кусок сочного мяса, сунул в рот. И в этот момент чертов Черчилль, адресуясь к Сталину, что-то буркнул! Я поперхнулся, судорожно прожевывая мясо. Покраснел, закашлялся. Конфуз! Рузвельт и Черчилль незло рассмеялись. Сэр Уинстон даже милостиво похлопал по спине, помогая прокашляться. Сталин едва хмыкнул. “Авось пронесло!” — мелькнуло в моей до смерти

перепуганной башке... Обед продолжался. Вдруг почувствовал щекотное прикосновение к уху. Щекотал кончиком уса Сталин... Сказал очень тихо, но внятно: “Абедать прыехал?” Как прожил тот день, не помню. Ночью вздрагивал от любого скрипа, шороха. Каждую секунду ждал — возьмут! На тот раз обошлось. Почему? Не знаю...

Гремел джаз, шарили цветные лучи ресторанных прожекторов. Бережков сидел откинув голову, полуприкрыв глаза. Красивое лицо казалось усталым и старым.

СИМОНА

Наше многочисленное семейство представляли и те, кто не имел прямого отношения к основному стволу генеалогического древа. В деревнях таких зовут свояками. У нас они считались родственниками.

Муж маминой старшей сестры был мой законный дядя. Его родная сестра вряд ли состояла со мной в прямом родстве, но звал я ее тетей. К ее супругу, Исааку Симоновичу Кримкеру, обращался по имени-отчеству. Несмотря на это пара была непременным участником всех семейных торжеств, числясь в родственниках.

Исаак Симонович — грузный, тяжелый — двигался легко и ловко. Большими руками сноровисто чинил электроприборы, кухонный инвентарь и даже мебель. Крупная лысая голова плотно сидела на широченных плечах, говорил он хриплым басом, с заметным одесским выговором.

Исаак Симонович напоминал героев Бабеля. Пожалуй, даже самого знаменитого персонажа — биндюжника Менделя Крика. Подробностей его биографии не помню, но кажется, не было профессии, которой бы он не занимался. Был и моряком. Из своих странствий привез жену-испанку. Родив ему трех дочерей, красавица умерла. Суровый вдовец оказался нежным папашей. Обожая дочек, заботливо обстирывал, обшивал, кормил девчушек. Любимицей старика была младшая — Симона — названная, видимо, в честь деда — одесского грузчика Симона Кримкера. Дочери успели при жизни матери выучить испанский. Особенно легко говорила на языке предков маленькая Симона. Дочки старика Кримкера тоже влились в ряды нашего семейства. Особенно близкой стала большеглазая умница Симона.

Поговаривали, что старик Кримкер в бурной молодости имел прямое отношение к одесской ЧК и связи с этой организацией, переименованной в НКВД, сохранил. В тридцать шестом году в Испании началась гражданская война. газеты и радио гремели статьями и передачами о героизме испанских коммунистов, о незыблемой интернациональной дружбе. Ходили слухи, что многие советские люди находятся в Испании, помогая республиканцам. Веселая Симона исчезла. Внезапно перестала приходить, звонить по телефону. Зная об ее безукоризненном владении испанским языком, наше семейство, многозначительно переглядываясь, строило догадки. На деликатные расспросы молчаливый старик Кримкер, покашливая, неожиданно отвечал дурацкими анекдотами, не к месту шутил, вставляя еврейские словечки.

Республиканцы проиграли гражданскую войну. Возвращались, блестя новенькими орденами, наши военные. Все знали — они были в Испании. Появилась и повзрослевшая Симона. Однажды пришла с горевшим яркой эмалью орденом Красной Звезды. Тогда орденосцы вообще были редкостью. А женщина с боевым орденом — чудо! До смерти хотелось похвастать в школе героиней-родственницей. Но Исаак Симонович болтать о Красной Звезде Симоны категорически запретил.

Грянула война. Симона опять исчезла. Нашу семью разбросало в разные стороны. Отец и мамин брат воевали. Нас, еле живых, вывезли по ладожскому льду. В сорок четвертом году эвакуационные странствия забросили в оживающую победными салютами Москву. В это время там жил и старик Кримкер. Как и в дни испанской эпопеи, старик делал вид, что ничего не знает о дочери. Под Новый год позвонил — вернулась Симона. Завтра мы ее увидим!

Она изменилась — утратила девичью легкость, слегка располнела. Обветренное лицо стало жестким, появились седые волосы. Военная, без погон, гимнастерка очень шла ей. Ловко орудуя

широким лезвием ножа, открывала банки консервов, нарезала толстыми кусками сало и хлеб. Одним глотком, по-мужски, выпивала водку. Как ни странно, в отличие от непроницаемого отца, она неожиданно делилась подробностями своей военной жизни.

— Очень страшно прыгать ночью с борта самолета, — рассказывала, закусывая огурчиком. — Парашют запутался в еловых ветвях. Вишу, как дура... Внизу два глаза горят! Волк или рысь? Черт знает кто! Но спускаться надо. В одной руке нож, в другой пистолет — на зверя. Обрезала парашютные стропы, плюхнулась вниз. И хохочу! Вместо зверя светляки мигают. У страха глаза велики!

Завороженно слушал, влюблялся в удивительную женщину — какой пятнадцатилетний мальчишка устоит перед женской смелостью и красотой? Наверное, Симона ощущала впечатление, произведенное ею на юнца. Возможно, это даже забавляло ее. Пригласила пойти вместе в Большой театр. Что за спектакль мы смотрели, не помню. Я смотрел только на свою ослепительную спутницу.

Посещению театра предшествовали волнения. Не мог же я идти с такой женщиной в потрепанной эвакуационными невзгодами одежонке! Отец разрешил надеть свой единственный праздничный костюм. Наряд был хорош, но великоват. Мама, закатав вовнутрь, подшила рукава пиджака. Брюки, натянув под грудь, крепко завязал ремнем, чтоб не сваливались. Обулся тоже в великоватые отцовские ботинки. Мне казалось, стал взрослым и мужественным.

Ждал Симону, как договорились, на ступенях театра. Подъехала белая, окрашенная под снег по законам военного времени легковая машина. За рулем сидела Симона. Вышла в меховой шубке, красивая и элегантная, пахнув ароматом духов. Но ослепительность первого впечатления померкла в сравнении

с тем, что произошло в гардеробе, когда она сбросила шубу. На черном бархатном обтягивающем платье сияли боевые ордена: Красного Знамени, Красной Звезды и два ордена Отечественной войны! Великолепие ее облика дополняла седая прядь в красиво уложенной прическе. В фойе толпилось множество военных, увешанных орденами, но Симона вызвала всеобщее восхищенное внимание. Она ободряюще взяла меня под руку, и мы пошли в зал.

Представляю, до чего смешон был нескладный мальчишка в отцовском костюме рядом с красавицей, сияющей боевыми наградами! Наверняка Симона видела неуклюжесть своего “кавалера”. Но ни на мгновение не дала почувствовать мне это. С истинно женской щедростью общалась со мной, как с женщиной, на равных. За все годы войны впервые был счастлив!

Через несколько дней, одетая в простенький лыжный костюм, жаря на электроплитке яичницу, сказала:

— Знаешь, как мне влетело за мой театральный маскарад? Нам высвечиваться не положено, — по-детски рассмеялась. — Уж очень хотелось подурачиться!

Много позже узнал: Симона воевала в знаменитом партизанском отряде Медведева вместе с легендарным Кузнецовым. Старик Кримкер задолго до войны дружил с чекистом Медведевым и прекрасно знал, где находится Симона.

В тот вечер в маленькой комнатухе на Сивцевом вражке Симона рассказывала об Испании, о своей встрече с Эрнестом Хемингуэем. Тогда впервые услышал странную фамилию писателя, книг которого еще не читал. Но, слушая, как Симона, глубоко затягиваясь дымом папиросы, рассказывает об этом человеке, испытывал острую юношескую ревность. Вспоминая пряную духоту улиц осажденного Мадрида, шум винных погребков, пулеметы на разбитых окнах фешенебельных отелей, сказала:

— Самое яркое в испанских днях и ночах — Хемингуэй...

В ее словах таилось не просто восхищение талантом писателя, а не забытая до сих пор встреча женщины и мужчины.

Кончилась война. Симона опять исчезла. Где она, что с ней, было неизвестно. Совсем старый Исаак Симонович переехал в Москву. Как и прежде, на дипломатичные расспросы о дочери отделялся недомолвками: “Спросите что полегче!” или: “Я знаю?” Хитро подмигивал: “Звоните в Информбюро. Там все знают”. Старик, конечно, был в курсе дел дочери. Навещая его, увидел на столе конверты с иностранными марками. Здороваясь, он быстро сгреб их крупной ладонью в ящик письменного стола.

Спустя некоторое время узнал о его смерти.

Стал кинорежиссером, снимал фильмы. Летом родители с моей маленькой дочкой жили на даче. Приехал навестить их.

— Знаешь, кто был у нас вчера? — интригуяще сообщила мама. — Никогда не догадаешься! — выдержала паузу. — На шикарной машине появилась Симона с мужем и двумя детьми! Огорчалась, что не повидала тебя. Постарела, совсем седая. Муж интересный, похож на писателя Константина Симонова. Дети только по-испански говорят, — многозначительно добавила мама.

На другой день спустился в подвальчик ресторана “Кавказский” — пообедать. За соседним столиком сидела семья иностранцев. Спиной ко мне — седая женщина. Напротив — мужчина в светлом щегольском костюме. Рядом мальчик и девочка. Долетала негромкая иноязычная речь. Загорелое лицо мужчины с седой щеточкой усов напоминало Константина Симонова... Мгновенно сообразил: это Симона со своей семьей! И я тихонько окликнул:

— Симона!

Женщина едва заметно повела головой, искоса глянув в мою сторону (у полковника Кримкер был большой опыт нелегала)... Узнав меня, сказала с легким акцентом:

— Не может быть! Леня!

Мы обнялись. Симона познакомила с мужем. Оба они говорили с заметным иностранным акцентом. Дети — Петер и Анита, или, как их теперь называли родители, Петя и Анюта — лопотали только по-испански, иногда, стесняясь, забавно коверкая, произносили русские слова. Мать терпеливо поправляла, требовала повторить с правильным произношением.

Симона постарела, стала совсем седой, но была по-прежнему хороша и по-западному ухожена и элегантна. Сказала, что окончательно вернулись из длительной зарубежной командировки. Будут жить в Москве. Дети, конечно, пойдут в русскую школу.

Неуместных вопросов о подробностях многолетнего отсутствия не задавал. Позже узнал: Симона с мужем (конечно, тоже советским разведчиком) жили в Южной Америке. Переехали на Кубу, наверное, подготавливая революцию команданте Фиделя. Когда страна игорных домов и борделей стала Островом свободы, форпостом социализма в Новом Свете, вернулись на родину.

Жизнь, полная опасностей и риска, ушла в прошлое. Полковник Симона Кримкер стала просто матерью и женой. Но заслуженный покой оказался недолгим. Симона заболела лейкемией. Была ли болезнь следствием ее профессиональной деятельности или просто роковой случайностью, не знаю. Лежа в больнице, никому, кроме мужа, не разрешала себя навещать. Не хотела, чтобы видели ее немощной и слабой. Жила сильной и смелой, такой и ушла...

Спустя несколько лет писал сценарий вместе с Алексеем Яковлевичем Каплером. Приезжая в Москву, часто бывал у него дома. Как-то он сказал:

— Знаете, кто был моей соседкой? Удивительная женщина — Симона Кримкер. Ее жизнь — готовый сюжет для фильма.

Когда я рассказал об Исааке Симоновиче, о своей юношеской влюбленности в красавицу Симу, о нашей последней встрече, Каплер покачал головой:

— И финал сценария есть!

КИСЕЛЬ

Директор студии Илья Николаевич Киселев, на коридорном сленге “Кисель”, — весьма примечательная фигура среди персонажей ленфильмовской галереи. Говорили, он из цыган. Не удивило бы, если бы выяснилось: в родословной директора имелись испанцы, итальянцы и другие предки самых темпераментных национальностей. Приземистый, коренастый, черноглазый, ходит, вернее, бегаёт по студийным коридорам вразвалочку, косолапя. Кисель — некий коктейль из совершенно противоречивых качеств. В нём перемешаны бесшабашный авантюрист и осторожный, лукавый партийный аппаратчик. Решительный, смелый человек и беззастенчивый трус. Трусовости своей Кисель не стыдился, бесстрашно заявлял:

— Вы все — храбрецы! А я трус!

В период печально известного “Ленинградского дела” Киселева, директора Дома ученых, посадили. За что, неизвестно. Этому не знал ни сам арестованный, ни те, кто его сунул за решетку. Но испугали Киселя на всю оставшуюся жизнь.

Ленинград был городом особого политического режима, строго охранявшим священные устои. Московские кинематографисты не сдавали свои фильмы обкомам и горкомам. “Ленфильм” до показа картины в Госкино обязательно проходил жесткую цензуру городских партийных боссов. Кисель панически боялся этих просмотров. Тогда партийные вожди приезжали на студию. По-хозяйски усаживались в кресла директорского зала. Во время демонстрации картины громко обменивались репликами. Редко похвальными, чаще осуждающими.

Принимать лирический, непритязательный фильм Хейфица “День счастья” приехал сам первый секретарь обкома партии тучный Василий Толстиков. Кисель был в полуобморочном состоянии...

В темноте просмотрового зала раздался зычный голос начальника:

— Директор, вы что нам показываете?!

Кисель вскочил, заискивающе перечисляя звания и регалии постановщика, сообщил краткую аннотацию фильма. Вождь резко оборвал перепуганного директора:

— Что ты нам там показывал?! — Толстый палец грозно ткнул в экран.

Зажгли свет. Выяснилось, зоркий глаз партайгеноссе рассмотрел, что в подворотне навстречу герою фильма прошла старушка с авоськой. Содержимое кошелки вызвало гнев Толстикова. Упомянув о происках “империализма”, он обличил кинематографистов и тех, кто ими руководит, в “литье воды на чужие мельницы”. Гневный голос гремел в притихшем зале:

— Лживо показываете, мол, бедствуют советские старики! Вынуждены бутылочки сдавать! Да какие? Из-под водки! Поклеп на советский народ возводите?! Спиваются наши люди?!

Дрожащий Кисель грудью встал на защиту родного “Ленфильма”, темпераментно утверждал, что в старухиной авоське бутылочки из-под молока и кефира, а главное — автор “Депутата Балтики” и “Члена правительства” не может клеветать на любимый народ.

Толстиков уперся, потребовал снова показать эпизод со зловредной бабкой. Кадр мелькнул на экране, студийная редакция самоотверженно поддержала директора, хором утверждая молочное происхождение старухиных бутылок. Толстикovu эта возня надоела, он махнул рукой:

— Хрен с вами, показывайте дальше!

Потом “закрутили гайки” и картины стали возить в Смольный. Режиссеры еще допускались на эти просмотры. Средняя и мелкая партийная челядь занимала партер. Высшие чины сидели за барьером в конце просмотрового зала. Над высоким дубовым ограждением торчали одни

начальственные головы. Рядом в углу находился микшерский пульт, к нему допускался только режиссер-постановщик. Кисель, обтирая платком потный лоб, напутствовал страшным шепотом:

— Плюнь на чертов микшер... Прислушивайся, что они будут говорить... Потом все точно мне передашь. Понял?

Когда утихал свист партийного кнута, Кисель ощущал себя многогранным художником. Любил горяча бросить на худсовете:

— Эх, было бы время, научил бы вас, как надо писать сценарии!

Мог, неожиданно выскочив из-за письменного стола, показать режиссеру, как актриса должна сыграть эпизод.

Я готовился к съемкам фильма “Не забудь... Станция Луговая!”. Посмотрев актерские пробы, Кисель вызвал меня, как он любил говорить, “на ковер”. Сценарий трудно проходил через кабинеты Госкино. Председатель комитета Романов на обсуждении тематических планов студий охарактеризовал “Луговую” как “пистон на крови”! Зная министерскую оценку сценария, Кисель испугался. В кабинете директора сидел лысый начальник отдела кадров. Звали его Лаврентий Васильевич. Всегда боялся назвать “Павловичем”, поэтому несколько раз именно так оговаривался... Наверное, присутствие Лаврентия не случайно, Кисель боится — пусть старый чекист будет свидетелем директорской бдительности!

— Ленечка, кысынька, — тяжело вздыхает Кисель, — это должна быть нежная картина... Как звук струны в лунную ночь... А вы, современные, перетрахали все, что шевелится. Представляю, что наснимаете в любовных сценах! — Выскакивает из-за стола, сгибается над лысиной Лаврентия, ласково обнимает его плечи. — Как героиню зовут?

— Люся, — отвечаю, еле сдержав смех.

— Так вот. Лейтенант эту твою Люсю хочет поцеловать. — Кисель неожиданно отталкивает плешь начальника кадров. — Хочет... Но не смеет... Эх! — сокрушенно машет рукой. — Вы — режиссеры! Вы все лучше всех понимаете! — Умолкает, плюхается в кресло. — В Одессе все Наполеоны! Я маразматика Козинцеву твердил: “Не берите на Корделию эту корову Шендрикову... Шпендрикову...” Не послушал. Загубил финал “Лиры”!

Представляю, если подобными эпитетами награждаются классики, как именуют в этом кабинете пигмеев вроде меня?!

Развалившись в кресле, Кисель продолжает “урок режиссуры”:

— Вы, пижоны, даже не представляете, какой чистой была любовь в наше время. Скажи, Лаврентий? — Тот согласно кивает лысиной. Кисель вдохновенно: — Когда умерла первая жена, помешался от горя. — В глазах директора подлинная слеза. — Каждый день приезжал на кладбище. Рыдать... Осень... Желтые листья... — Кисель смахивает пухлой ладонью слезу. — На соседней могилке лежит женщина. Тоже рыдает! Представляешь кадр? На ней креп-жоржетовое платье, все в желтых листьях... Бедро выгнуто... — Показывает, не вставая, изгиб бедра. Прикрыв глаза, откидывается на спинку кресла. — Какая баба была, огонь! Жила на Фонтанке. Дом номер... Черт, забыл! А вы, пижоны современные, все опошлите. — Размашисто подписывает приказ о запуске фильма в производство. — Учти! За каждую сорванную съемку твоим алкоголиком Юматовым будешь расплачиваться фамильными бриллиантами!

Этой сцене предшествовала сцена в этом же кабинете, достойная кисти Айвазовского. На фильме “Порожний рейс” Юматова держали в вытрезвителе. По утрам возили на съемку. Ночевать возвращали обратно. После таких приключений Киселев издал приказ, категорически запрещающий снимать артиста на “Ленфильме”. Нарушив запрет, мы провели кинопробы. Московского профессора, который лечил Юматова, умолили приехать для встречи с директором студии.

- Ваш алкоголик! — яростно рычал Кисель.
- Мой больной... — спокойно парировал профессор.
- Ваш алкоголик! — стучал кулаком Киселев.
- Мой больной может... — перебивал профессор.
- Ни черта он не может! — орал Кисель.

Битва закончилась распоряжением директора принести бутылку коньяка и лимончик. Юматова на роль Киселев утвердил.

Постепенно я понял: Кисель жил в постоянном ожидании ударов судьбы. Как-то встретились в вестибюле Госкино. Увидев меня, он почему-то обрадовался:

— Ты-то мне и нужен! Будешь делегацией!

Не дав раздеться, потащил на улицу. В проходной прихватили огромный похоронный венок. Кисель, косолапо разбивая тонкий лед на лужах узкими носками модных туфель, пояснил:

— Пыррева хоронят. А кроме меня — никого! Вдвоем уже солидно.

Держась за края венка, в поисках такси добежали до улицы Горького. Запыхавшийся Кисель жаловался:

— От вас, режиссеров, вечно подянки жду! Снимаете чушь, а шею мылят мне! Министр сейчас по первое число врезал... Говорил этому... — следовал привычный эпитет, — Панфилову: “Снимай революцию красиво! Музыка, флаги, красные банты...” (Речь шла о фильме “В огне брода нет”). Он свое — грязные подштанники, рваные бинты... Сплошной гильом! (Любимое словечко Киселя, что означает “гиньоль”). Повезли картину на дачи. Там плевались! Выволочка — мне! — печально вздохнул, впихивая в такси венки. — Вы, сволочи, на мои похороны не придете. Такой вот гильом получается!

Редактор объединения вручает сценарий:

— Илья Николаевич просил прочесть. Срочно. Революционная тематика! — Значительно добавляет: — Может быть госзаказ!

Читаю. Сценарий на уровне произведений “Библиотечки красноармейца”. Возвращая опус Киселю, твердо отказываюсь от предложения. Кисель задумчиво листает страницы “шедевра”:

— Сам знаю, говно. Но годовщина революции? Может, снимешь?

Снова непреклонно отказываюсь. Хитро смотрит:

— Не хочешь народным быть?

Подтверждаю, не хочу. Хлопает себя по лацкану пиджака:

— А я засраком стал! Звонили. Завтра в газетках будет.

Осторожно интересуюсь, что значит “засрак”?

— Заслуженный работник культуры! — хвастливо расшифровывает Кисель. — Горжусь!

Поздравляю заслуженного. Кисель отбрасывает папку с революционным сочинением:

— Сценарий говно. А ты дурак!

История, которую расскажу, записана Сергеем Довлатовым. Не соревнуясь с писателем, рискую повторить сюжет, уточняя подробности, состав действующих лиц. Министра культуры Фурцевой на знаменитом совещании не было. Главную женскую роль сыграла секретарь Ленинградского обкома по пропаганде и агитации Зинаида Михайловна Круглова. Женщина серьезная и суровая. Даже партийные коллеги безропотно подчинялись строгой “классной даме” Смольного. У Киселя существовал любимый персонаж — Дунька Распердяева. Эта Дунька фигурировала в разнообразных фразах директора: “Дорогой, Дунька Распердяева эту сцену лучше бы сыграла, чем твоя артистка!” или “Товарищи, кто за нас план выполнит? Дунька Распердяева?!” В лексике Киселя Дунька была незаменима. Вся студия, конечно, знала киселевскую Дуньку.

В кабинете директора “Ленфильма” шло ответственное совещание по тематическому плану студии в преддверии очередной великой даты. На совещании присутствовала непроницаемая Круглова. Докладывал Кисель. Когда темперамент унес его “в гибельные выси”, Кисель, театрально воздев руку, прогрохотал:

— Нет, дорогие, это должны сделать мы, а не Дунька... — побагровев, Кисель осекся, испуганно глянув на Круглову, кашлянув, закончил: — Дунька, простите, Иванова за нас это не сделает...

В тишине раздался голос директора объединения остряка Марка Рысса:

— Илья Николаевич, она что, замуж вышла?!

Директорский кабинет, наверное, впервые огласил взрыв хохота. Только ничего не понимающая Зинаида Михайловна Круглова не смеялась.

Годы, когда “Ленфильмом” командовал Кисель, при всех его чудачествах, непредсказуемости, были добрыми временами для студии.

ГУТАЛИН

Вместе с Никитой Курихиным я снимал свою первую ленту “Жаворонок”. Фильм о победе пленных танкистов с полигона смерти в Германии успешно прошел на отечественном экране. Наша “киноптичка” даже улетела на Каннский фестиваль.

Мы были молоды, полны сил, веселы. Работу сопровождали многочисленные розыгрыши и шутки. Директор картины Юра Джорогов — личность сильно пьющая, по-своему одаренная, даже обаятельная. С ним вечно происходили невероятные, почти фантастические истории, о которых с хохотом рассказывали в коридорах студии. Однажды Юрочка (конечно, под “легким”, по его словам, “газком”) забрел в цирк. Там шел аттракцион иллюзиониста Сокола. В числе фокусов демонстрировался “разговор по волшебному телефону”. Зрители называли любой номер, артист поднимал светящийся жезл, и потрясенная аудитория слышала ответ абонента. Фокусник, видимо, использовал редкий по тем временам радиотелефон. Теперь с таким трюком не выйдешь на манеж!

На предложение иллюзиониста с энтузиазмом откликнулся подвыпивший Юрочка. Он назвал рабочий телефон супруги — дамы решительной и не чуждавшейся ненормативной лексики. Замерший амфитеатр цирка услышал суровый женский голос:

— Где шляешься?

Притихший Юрочка ласково ответил:

— Заинька, сижу в цирке. Один! Разговариваю с тобой по волшебному телефону.

— Не пи...ди! — отрезала подруга жизни, бросив трубку.

Говорят, даже на выступлениях Олега Попова и Юрия Никулина цирк не сотрясал такой гомерический хохот.

Что же касается профессиональных достоинств, в Юрочке совмещались

безответственное легкомыслие и умение сделать почти невозможное. Допустим, в режиссерском сценарии черным по белому записано: “Кадр номер... Требуются две поливальные машины”. В день съемки поддавший с утра Юрочка растерянно хлопал длинными ресницами:

— Только сейчас узнал, что нужны проклятые поливалки!

Но можно было, позвонив ему ночью, потребовать, чтобы завтра было не три танка, а, скажем, шесть! Юрочка, зевая, отвечал: “Будет сделано” — и утром приезжал на одном из шести танков.

Вот такой у нас был директор.

Немцев в “Жаворонке”, как водится, играли прибалтийские актеры, на роль одного из главных фашистов, эдакого нордического “сверхчеловека”, я отыскал двухметрового ресторанный певца, красавца Бруно Ойю. Умеренные актерские способности и полное отсутствие кинематографического опыта несколько снижали ценность внешнего великолепия.

Начались съемки. В первых эпизодах было необходимо акцентировать уверенность, лощеную выправку блестящего эсэсовца. Безуспешно гонясь за русскими беглецами, оберштурмфюрер “линял”. Роскошный мундир рвался и пачкался, щегольские сапоги покрывались грязью. Кадр первого появления бравого офицера снимался таким образом: камера медленно поднималась от блестящих сапог до надменного лица немца. Неторопливое движение камеры снизу вверх подчеркивало монументальность эсэсовца.

Снимать оказалось невозможно — сапоги Бруно не сияли нужным блеском. У костюмеров не было ни гуталина, ни сапожной щетки. Я грозно сообщил, что денщик за такое состояние сапог начальника немедленно загремел бы на гауптвахту. Потребовал, чтобы костюмерша подавала актеру сапоги, только увидев в них свое отражение! Перепуганные костюмеры старательно терли голенища сухой тряпкой, жалобно оправдываясь:

— Гуталина нет. Щетки тоже.

Решительно объявляю:

— Сегодня съемки не будет!

Послышались сдерживаемые всхлипы сотрудницы. Назревал скандал.

В павильон вошел Юрочка. Директорским голосом спросил:

— Почему не снимаем?

Ему объяснили причину. Хитрый Юрочка начал защищать хнычущую костюмершу.

Я был неумолим:

— Пока не достанете гуталин, снимать не буду!

Объявили перерыв. Послали машину за баночкой гуталина. Кадр сняли.

Вечером дома лег подремать. Разбудил звонок телефона. Пискливый женский голосок игриво сообщил:

— Есть черный гуталин. Могу привезти, — и, гнусно хихикнув, отключился.

Через несколько минут снова зазвонил телефон. Тоже женский, но призывный и томный голос осведомился:

— Говорят, гуталином интересуется? От покойного дедушки остался запас. Немедленно доставлю. Бесплатно.

Последовали еще подобные звонки. Зная обширные Юрочкины знакомства с женским населением города, было ясно, кто инициатор телефонных шалостей.

Позвонили в дверь. На пороге стоял бойкий пацан с коробкой.

— Велели передать! — Шмыгнув носом, посыльный исчез. В коробке лежало полсотни баночек черного гуталина.

Утром принес в кабинет Юрочки коробку с гуталином:

— Вчера добрые люди прислали. Пару баночек оставил себе, остальные доверяю вам. Будете лично руководить блеском немецких сапог.

...Костюмеры “Жаворонка” стали заправскими чистильщиками обуви. Бруно щеголял в сияющих, отполированных щетками и бархотками сапогах.

Группа уехала снимать натуру в прикарпатский городок Мукачево. Коробку с гуталином привезли вместе с костюмами и обувью. По договоренности с местным начальством наши актеры, чтобы привыкнуть к выправке, после съемок ходили в немецкой форме. Жители, конечно, знали, что в городе снимают кино. Довольно равнодушно поглядывали на кинематографическую суету. Но каждое появление на улицах двух участников фильма вызывало неизменное восхищение.

Одним был танк, специально изготовленный для комбинированных съемок. Танк изготовил знаменитый ленинградский Кировский завод, точно по образцу легендарных Т-34, выпускаемых им во время войны. Наша “грозная машина” была меньше автомобиля “запорожец”. Из откинутой на петлях башенки танка торчала вихрастая башка водителя Васи. Когда Вася, грохоча мотоциклетным мотором своего танка, лязгая гусеницами по булыжнику, выезжал на улицы, в мукачевских школах прекращались уроки. Детвора восторженно бежала за маленьким танком, а Вася истошно орал: “Брысь от боевой машины!”

Другим предметом восторгов был Бруно Ойя. Громадная фигура белокурого красавца, обтянутая черным мундиром, сияющие пуговицы, погоны, ременная пряжка с орлом, высокие сапоги ослепляли своим блеском женское население Мукачева. Бруно Ойю, величественно шагающего в зеркально начищенных сапогах, сопровождали стайки девиц, обмирающих при виде сказочно красивого врага. Пожалуй, эсэсовец не был для жителей (и особенно жительниц) маленького карпатского городка страшным врагом. За прошлые годы город видел столько разных флагов, гербов и мундиров, что испугать мукачевцев очередной сменой власти было трудно.

Произошел такой случай. Администратор готовил для съемок проезда танка мукачевскую улочку, как говорится, на скорую руку. Была прихвачена стремянка, флаги со свастикой, несколько вывесок на немецком. Постановочную бригаду сопровождали камуфлированные мотоциклы с колясками, солдаты в немецкой форме. Администратор, стоя на стремянке, скинул советский флаг, воткнул во флашток знамя со свастикой. Мимо шел работяга. Остановился, приложил ладонь к козырьку мятой кепчонки:

— Опять германьцы пришли? Чи западные, чи восточные?

— Западные! Западные! — ответили со стремянки. — Сейчас виселицы ставить будем. Рубли на марки менять. Давай в делегацию!

— Некогда, — невозмутимо отказался мужик. — Иду на мельницу работать.

Спокойно примирившись с изменением государственного строя, житель ушел.

Взаимоотношения красавца Бруно с прекрасным полом развивались довольно драматично. Он жил в номере вместе с Курихиным. Затравленный совместным проживанием, Никита жаловался:

— Девки звонят днем и ночью. Лезут в окна и двери. Пришлось и мне завести бабу. Хожу к ней

высыпаться.

В Мукачево приехал Львовский дом моделей. Красавицы почти европейского класса демонстрировали в Клубе офицеров шикарные туалеты. Романы у Бруно были стремительные, страстные и чрезвычайно короткие. Роскошная львовская манекенщица без сопротивления упала в его объятия. Он хвастливо делился:

— Такой женщина не знал! Это взрыв. Это навсегда!

Знойный роман длился несколько дней. Львовские манекенщицы уехали поражать нарядами Ужгород, но должны были снова вернуться в Мукачево.

Через несколько дней из номера Бруно неслась музыка, слышался громкий смех. Кто-то из прибалтийских актеров потащил меня в шумный номер:

— Пойдем! Там очень весело. Бруночка женится!

— Дом моделей вернулся? — наивно спросил я.

— Приехал! — радостно закивал прибалт. — Но женимся на другой.

В дымной комнате стреляли пробки шампанского, хохотали женщины.

В центре, обтянутый черным ээсовским мундиром, вытянув длинные ноги в надраенных гуталином сапогах, с гитарой сидел Бруно. На ресторанном английском вдохновенно пел, подражая Фрэнку Синатре. Из-под руки певца выглядывала хорошенькая мордочка местной очень молоденькой девчонки. В углу с длинной сигаретой в покрашенных губах сидела отвергнутая львовская манекенщица, равномерно покачивая красивой ступней, в перевитой золочеными ремешками сандалиии. Ее ухоженные, покрытые красным лаком ногти напоминали когти разъяренной, готовой к прыжку львицы.

Недолго посидев, ушел спать.

Утром спустился в гостиничный ресторан позавтракать. В пустом зале перед тарелкой горячих сосисок сидел мрачный Бруно. Увидев его лицо, я содрогнулся. Никакому гриму не скрыть глубокие царапины, избороздившие лицо актера.

— Бруно, что произошло? — потрясенно спросил я.

Прожевывая сосиску, певец печально сообщил:

— Это пыла такая Валпургская ночь! — Аккуратно обмакнул в горчицу следующую сосиску. — Все ушли. Мы с моя девочка легли и только начали играть... вбежал львовский манекен. Я, турак, забыл упереть дверь. Манекен разделся голым, упал кровать и стал бить бедный девочка. Я отнимал его. Манекен дрался. Я схватил его и вынес коридор.

Отчетливо представился гостиничный коридор: постояльцы, выглядывающие из дверей, посредине — огромный Бруно с голой манекенщицей на руках...

Бруно подцепил следующую сосиску.

— Вернулся. Упер дверь. Начали играть с девочкой. Снова стучат. Я не люблю ругаться плохими русскими словами, но тут пришел к двери и сказал: “Пошла к еб... матер!” Но эта пыла Никита! Знаешь, она, кажется, опиделась.

Пока заживали следы любовных походов Бруно, завершилась эпопея с коровами. Конфликт между директором картины Юрочкой и Никитой Курихиным, предметом которого стали коровы, возник еще в подготовительный период. Рейд советского танка по дорогам самоуверенной победоносной Германии вызывал панику. Тревожно звонили телефоны, стучали телеграфные аппараты: “Русские танки!” Трезвонили колокола кирх, выли сирены, закрывались

ставни магазинов. Ломая изгородь, из загона вырывается обезумевшее от страха стадо коров. На каждом совещании Курихин задавал директору один и тот же вопрос:

— Юра, как побегут коровы?

Когда вопрос прозвучал впервые, Юрочка ответил:

— Собаки погонят!

Никита погасил сигарету, прикурил новую:

— Нельзя. Собаки будут в кадре.

Через некоторое время снова прозвучал вопрос о коровах. Юрочка, видимо забыв предыдущий разговор, ответил:

— Собаки погонят.

Никита холодно отрезал:

— Тебе сказано — собак нельзя! Попадут в кадр.

Тогда находчивый директор сдвинул большой и указательный пальцы, оставив между ними крошечный зазор:

— Собачки будут такие... Маленькие.

Это “собачки будут маленькие” стало в группе рабочим термином — сойдет, собачки будут маленькие!

Во время простоя из-за любовных травм Бруно Курихин предложил снять наконец эпизод с коровами. На сакраментальный вопрос: “Как побегут коровы?” — Юрочка невозмутимо сообщил:

— Найден дрессировщик коров. Завтра придет на консультацию.

От дрессировщика — рослого небритого мужика — разило горилкой. Юрочка попахивал тем же. Спросили: каким образом специалист заставит животных сломать забор и, задрав хвосты, мчаться по улице?

Мужик сплюнул:

— Шмелем гудеть буду. Они и побегут, заразы. Шибко шмеля боятся.

— Как шмелем? — ошеломленно спросил Курихин.

— А так: “Ж-ж-ж”, — загудел мужик.

Дрессировщика выгнали. Юрочка, обиженно пожав плечами, удалился.

Проблема разрешилась следующим образом. За стадом поставили танк, завели на полную мощность двигатель, ревущая машина, выпуская густые выхлопы дыма, ударила в зады коров, передние нехотя побежали, подгоняемые испуганными задними. Постепенно увеличивая скорость, отчаянно мыча, стадо понеслось.

Снимали несколькими камерами с разных точек. Я с оператором сидел в яме, накрытой досками. Когда по непрочному настилу застучали копыта, посыпались комья земли, я почувствовал — пришел конец! Одна из перепуганных коров обязательно рухнет на нас. Но, как говорится, пронесло. Кадр этот при монтаже вырезали как нарушающий стиль фильма.

Царапины на лице Бруно подсохли. По мнению гримеров, они даже соответствовали нужному в

этом кадре “полинявшему” облику надменного эсэсовца. Перед съемкой ассистенты показали утратившего прежний лоск в безуспешной погоне за беглецами Бруно. Костюмеры старательно запачкали роскошный мундир и фуражку, гримеры заляпали брызгами грязи лицо красавца. Но сапоги эсэсовца сияли прежним блеском. Видимо, запасы гуталина не иссякли. На мой вопрос: “Почему сапоги чистые? Он что, по паркету за русскими гонялся?” — костюмеры смущенно потупились. Принесли ведро с грязью и начали осторожно пачкать сияющие голенища. Потом вошли во вкус и, мстя за многомесячную усердную полировку, от души изгваздали грязью проклятые сапоги.

ИМИТАТОР

Шло озвучание “Жаворонка”. В картине был эпизод — пленный паренек (солдат, сбежавший из лагеря смерти) мечется по лесу, оглашаемому лаем преследующих его псов. Недавно на лагерном плацу под издевательские команды эсэсовцев “Ауф!” (“Встать!”), “Нидер!” (“Вниз!”) заключенные падали в грязь и стремительно вскакивали. Возникла идея — загнанному беглецу в оголтелом лае псов слышатся лающие эсэсовские команды. Чтобы добиться такого эффекта, надо на подлинный собачий лай наложить голос, имитирующий собачье “Ау!”, “Ау!”, постепенно переходящее в схожий командный рык: “Ауф!”, “Ауф!”, “Нидер!”, “Нидер!”.

Поручил отыскать профессионального имитатора. Ассистентка, войдя в полутемное тонателье, объявила:

— Пришел! Лучший имитатор в городе! Ас!

Ввела небольшого коренастого человечка с головой, блестящей как бильярдный шар. Галстук-бабочка подпирает гладко выбритый подбородок, на мясистом носу блестело пенсне. Кожаный саквояж провинциального доктора довершал облик. Вид у имитатора был столь внушителен, что я несколько подобострастно объяснил мастеру его задачу. На экране крутилось кольцо, бесконечно повторяющее изображение паренька, мечущегося между стволами деревьев. Мэтр снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, поправил жилетку, вынул из саквояжа сатиновые бухгалтерские нарукавники, надел их, тщательно спрятав манжеты рубашки. Встал к пульту. Присутствующие благоговейно наблюдали за манипуляциями специалиста. Ассистентка гордо поглядывала — мол, какого туза раздобыла!

Мэтр несколько раз качнулся на маленьких ножках, затем вполборота повернулся:

— Сделаем уточнения.

Я залебезил:

— К вашим услугам. Слушаю.

— Порода собаки? — начался безжалостный допрос.

— Овчарка.

— Точнее. Какая? Восточноевропейская? Западная? Кавказская?

Разобрались с породой. Допрос продолжался:

— Сука? Кобель?

Неуверенно возражаю:

— Какое это имеет значение?

— Для вас не имеет. Для нас имеет! — внимательно вглядывается в экран. — Не вижу собак!

Снова терпеливо разъясняю:

— Псов еще нет. Они бегут по следу. Ищут.

Поправив пенсне, строго спрашивает:

— Собачка кастрирована?

Жалобно признаюсь:

— Не знаю.

Снова жесткий вопрос:

— Весна? Лето? Осень?

Осмелев, отвечаю раздраженно:

— Лето. На экране видно.

Ледяной голос “парирует”:

— Вам видно. Мне — нет. Возраст?

— Чей?! — еле сдерживаюсь я.

— Собачки, — следует невозмутимый ответ. — Ваш меня не волнует.

— Пусть будет три года, — цежу я сквозь зубы.

Ассистентка предусмотрительно крадется к двери.

Поддернув нарукавники, маэстро резюмирует:

— Лаю западноевропейской овчаркой. Возраст — три года. Пол — сучка. Лето. Период течки. Лай интенсивный.

— Идет, — покорно соглашаюсь, грозя кулаком съездившейся ассистентке.

— Пишем! — громко объявляет звукооператор. Далее происходит нечто невероятное. Человечек у пульта издает жалкие пискливые звуки, слегка напоминающие визг маленькой болонки. Грозного лая, переходящего в “Ауф!”, нет и в помине!

— Стоп! — зло командую, перестав благоговеть. — Что это такое?!

Имитатор, поправив пенсне, невозмутимо:

— Западноевропейская овчарка. Трехлетка. Период течки.

Снова повторяю задачу:

— Требуется мощный глухой лай, переходящий в похожие гортанные слова немецкой команды. Понятно?!

Мэтр окидывает меня пренебрежительным взглядом:

— Молодой человек, не учите жить. Я — лауреат Всесоюзного конкурса чревовещателей!

Лауреат снова тоненько, гнусно облаивает экран, с еврейским акцентом пищит: “Ауф!”

Показывая чревовещателю, что нужно, яростно лаю, гортанно ору немецкие команды. Сажусь

отдышаться, слышу с экрана желанный лай и команды. Поворачиваюсь к звукооператору:

— Что это?!

Он смеется:

— Ты налаял. Я записал.

— Кира! — ору ассистентке. — Товарищ свободен! Уведи!

Испуганная Кира осторожно заглядывает в дверь. Чрево вещатель с достоинством надевает пиджак, аккуратно прячет в саквояж нарукавники, не глядя на меня, величественно спрашивает ассистентку:

— Барышня, когда гонорар?

На экране за молоденьким пленным солдатом гонятся сторожевые псы. Бешеный лай оглашает лес. Измученному беглецу вместо собачьего лая слышатся зловещие окрики лагерных надзирателей. Лаял, рыча немецкими командами, я. Гонорар за озвучание получил чрево вещатель.

“ОТРЕЗ НА ВАЛЕНОК”

Два человека катят тяжело груженные тачки. Их спрашивают:

— Что делаете?

Один горько:

— Камни таскаю.

Другой гордо:

— Строю Миланский собор!

Те, кто теперь на заморский лад именуются “исполнительными продюсерами”, когда-то назывались директорами кинокартин. Одни угрюмо катили тачки с киногрузом, другие строили фильм вместе с режиссером, оператором и художником.

В ленфильмовских коридорах его звали Саша, хотя Александру Самойловичу Плавнику перевалило за пятьдесят. Иногда величали Самолычем. Он был невысок, худощав, даже изящен. Чем-то напоминал знаменитого артиста немого кино Адольфа Менжу. Сходство увеличивала ровная щеточка усов. Не знаю, какой голос был у заокеанской звезды, но Сашин совершенно не соответствовал его внешности. Говорил он сирым, хрипловатым басом. К тому же с заметным еврейским акцентом.

В конце семидесятых годов теперь уже прошлого века я снимал фильм “Опознание”. Директором картины был Саша. Действие фильма происходило в Западной Германии. Герой, хоть и отрицательный, пушечный король — барон Остер. Эдакий Крупп. Естественно, требовался соответствующий его рангу антураж: интерьеры, транспорт, реквизит, костюмы. Сегодня на наших улицах “мерседесов” больше, чем “жигулей”, а тогда каждая иномарка была редкостью.

В Комитете по кинематографии длительно и таинственно решался вопрос о съемках в Западной Германии, на худой конец — в Восточной. Сроки поджимали, и мы, все же рассчитывая на зарубежную экспедицию, авантюрно решили ввязаться в работу, камуфлируя прибалтийские города под Германию. Превратить достаточно убогую “советскую за границу” в сияющую чуждыми нам фальшивыми огнями Европу было сложно. Проблем у директора картины хватало. Начали снимать в Ленинграде. Для домашнего кабинета пушечного короля выбрали дубовую гостиную старинного особняка. Громадный камин, резные панели стен — все было достоверно. В этом эпизоде к Остеру приходила его бывшая любовница. Пожилая женщина

согласилась лжесвидетельствовать в суде, защищая Остера. Жесткий, лишенный сантиментов барон вместо благодарных слов прислал пачку денег. Оскорбленная женщина со словами: “Сегодня я плачу за наше свидание”, — швыряет барону его подачку. Накануне приехали осмотреть готовность интерьера. Все сделано основательно. В камине горит огонь, в бронзовых шандалах — толстые свечи, на полу — привезенные Сашей ковры из звериных шкур.

— Что будет с деньгами? — спрашиваю директора. — Гостья кидает Остеру марки. И не какие-нибудь, а западногерманские. Денег должно быть много. Чем большую сумму заплатил Остер, тем драматичнее ситуация.

Обменных пунктов валюты тогда не было. И этих самых, “фээргэшных” марок мы в глаза не видели. Художник с жалостью посмотрел на щуплого директора:

— Самолыч, достань хоть несколько настоящих. За ночь сделаем приличные копии.

Плавник, тяжело вздыхая, оглядывает дубовые панели стен, бронзовые шандалы, меховые ковры и тоскливо спрашивает:

— Марки проклятые крупно будете снимать?

Безжалостно отвечаю:

— Брошенные деньги — кульминация эпизода. Понадобится укрупнение.

Поникший Саша уныло произносит свою производственную присказку:

— Будем выкручиваться!

На съемку Самолыч прибыл молчаливый и значительный, крепко зажав старенький портфель. Демонстративно шелкнув замочками, выложил пачку незнакомых купюр:

— Двадцать тысяч хватит? Репетируйте с бумажками, — потребовал Саша. Строго приказал: — Реквизиторы! Быстро нарезать пачку такого же формата!

После первого дубля, когда актриса размашисто бросила барону двадцать тысяч марок и купюры эффектно рассыпались, одновременно с командой “Стоп!” Плавник стремительно бросился собирать деньги. Судорожно хватал ассигнации, торопливо их пересчитывал.

— Караул! — прохрипел Самолыч. — Одной не хватает! Расстрел! Воркута! — Пересчитав еще раз, облегченно вздохнул. — Черт! Ошибся. Все на месте.

Кто-то из группы хихикнул. Самолыч строго глянул вверх очков:

— Дурак! Знал бы ты, откуда эти проклятые марки!

Сняли, кажется, три дубля. И каждый раз повторялся Сашин бросок, затем испуганное пересчитывание купюр. В конце съемки, аккуратно спрятав марки в потрепанный портфель, глотнув из пробирки таблетку нитроглицерина, сипло сказал: “Фашисты!” — Самолыч быстро исчез. Как ему удалось раздобыть заморские деньги, он никогда никому не рассказывал.

Уехали в экспедицию. Съемочная группа самоотверженно гримировала улицы Вильнюса и Львова под Западную Германию. Никогда не жалуясь, Самолыч пригонял на съемочную площадку “мерседесы” и “фольксвагены”, не рассказывая, как удалось их достать. Однажды раздался неожиданный автомобильный гудок, на площадь въехал лимузин. В глубине салона виднелся маленький Самолыч. Вышел, небрежно хлопнув дверцей.

— Подойдет для вашего капиталиста? — Мы стояли разинув рты. — Два дня ваши. Ни часа больше. — Самолыч ткнул носком ботинка колесо. — Фашисты!

Шантажируя героиню фильма, люди пушечного короля похищают ее маленького сына. Чтобы сообщить условия сделки, неприметный тип ждет ее около собора. Натура была выбрана точно, но не хватало какой-то образной детали. Я вспомнил: мы осматривали местное кладбище, там при входе — небольшая скульптура Мадонны с младенцем. Вот эту статую сюда бы! Все согласились: выразительно! И замолчали. Завтра съемка. Поздно.

— Без статуя снимать будете? — сипло поинтересовался Самолыч.

— Снимем, — уныло сдался я. — План!

Утром следующего дня шла обычная предсъёмочная суета. Подъехал запыленный грузовичок. В кузове стоял Самолыч, придерживая нечто, замотанное мешковиной.

— Рабочий класс, ко мне! Живо! — зычно скомандовал маленький директор.

Из кузова под грозные оклики Самолыча “Осторожно! Легче! Не картошку тащим!” извлекли статую Мадонны. Местный шофер, привезший скульптуру, сплюнув, закурил:

— Ну, старичок у вас! Кажется, в чем душа держится, а тетку эту, можно сказать, на себе тащил.

Самолыч добродушно хлопнул шофера:

— Ленин сказал: “Из всех искусств самое важное кино!” — Привычно глотнув шарик нитроглицерина, ушел полежать в тонваген.

Картина была уже почти снята, когда Госкино наконец милостиво разрешило экспедицию в Германию. Увы, в демократическую, но все-таки некоторые эпизоды, куски подлинной немецкой природы можно было доснять.

Кто только не сидел в директорском кресле “Ленфильма” — чекисты, артисты, профсоюзные деятели, бывшие плотники. В те дни руководить студией назначили снятого за какую-то провинность секретаря райкома Блинова. Кабинет нового директора стали называть “блиндаж”. Он сохранил партийный стиль общения — покровительственное “ты”, матюжки, командный рык. Вызывает меня, сообщает, что принял решение — возглавить зарубежную экспедицию должен не рядовой директор картины, а товарищ более высокого ранга — руководитель объединения Аршанский. Блинов недобро поглядывает:

— Ворвался этот ваш... как его... Плавник. Матерился, орал, что он Германию в белых тапочках видел, побывал там со шпалером ... — Узнаю лексику Самолыча. — Но ему, понимаешь, обидно! Не пускать его, беднягу, за границу — произвол! Словечко нашел! — Блинов по слогам повторяет: — Про-из-вол! — стучит кулаком. — Хулиган!

Слышал, что Самолыч воевал. Кажется, был ранен. Подробностей его военной биографии не знал. Но как Саша сражался на кинофронте, видел. Мне удалось отстоять Самолыча. Было принято компромиссное решение — поехали оба Саши, Аршанский и Плавник. Откровенно говоря, для дела не были нужны ни тот и ни другой. Принимала нас студия “ДЕФА”, все было организовано с немецкой пунктуальностью. Наши директора отдыхали.

Основные съемки проходили в Лейпциге. Группа жила обычной для зарубежных экспедиций жизнью. В свободное время бегали по магазинам, негромко восхищаясь разнообразием товаров побежденной страны. Победители, экономя суточные, варили в номерах привезенные супы из пакетов.

Плавник, оператор и художник жили в большом гостиничном люксе. Они не интересовались красотами города, обилие прилавков их тоже не привлекало.

В клубах сигаретного дыма дулись в карты. Играли, конечно, на марки. Кроме бешеного азарта, у Самолыча ничего не было. Его противники были классными игроками. Швыряя на стол карты, Самолыч отсчитывал проигранные марки:

— Берите, сволочи! Серюнькины сапожки пошли! — Серюнькой Плавник называл любимого внука Сережу.

Заходя в окутанный дымом номер, слышал шелк карт и хриплые стоны Самолыча:

— Серюнькины штанцы забирайте! Грабьте, бандиты! Раздевайте ребенка!

Утром перед выездом на съемку Самолыч сипло жаловался:

— Вчера я опять был ихней жертвой! — сокрушенно качал головой. — Черт со мной! Ребенка жалко!

Посоветовал старику перестать играть.

— Да, да. Вы совершенно правы, — печально согласился Саша. — Завязываю.

Вечером заглянул в люкс. Дыма было меньше. Художник что-то рисовал в блокноте, оператор жужжал электробритвой. Самолыч, укрытый с головой одеялом, лежал на диване. Краешек одеяла откинулся.

— По пять пфеннигов играем? — сипло предложил Самолыч.

— Не пойдет, — холодно отрезал художник. Оператор молча продолжал бриться.

— Ну и хрен с вами! — Самолыч, решительно натянув одеяло, отвернулся.

Через минуту Самолыч снова откинул одеяло:

— Десять пфеннигов? А?

— Ставка прежняя, — отозвался художник.

— Грабьте! — Добавив несколько непечатных слов, Самолыч в тельняшке и длинных сатиновых трусах уселся за стол, с вожделием тасуя колоду...

Привез он любимому Серюньке подарки или проигрался дотла, не знаю. Учитывая бойцовский характер Саши, боюсь, он сражался до последнего пфеннига.

Приближалось 7 Ноября. Дома никогда не отмечал этот день, совсем не из-за политического протеста. Хватало маршевого грома, толп демонстрантов, торжественных радиоголосов. Желания сесть за стол, выпить рюмку не возникало. Но в Германии неожиданно проснулся патриотизм. Предложил Аршанскому и Самолычу отметить праздник, пригласив немецких коллег. Предложение подкрепил, выставив бутылку “Столичной” и баночки с черной и красной икрой. Немцы прекрасно знали о кулинарных подвигах русской группы в гостиничных номерах. Уплетая в обеденный перерыв сочные сосиски, купленные в уличном кафе, немцы беззлобно подтрунивали над русскими, сиротливо сидящими в сторонке. Воспылав желанием восстановить поправное достоинство советского человека, Плавник немедленно полез в чемодан, со стуком поставил бутылку экспортной водки, бросил палку копченой колбасы. Аршанский сдержанно пообещал по своим скромным возможностям принять участие в праздничном столе. Агитационную и практическую подготовку банкета поручили Самолычу. Потирая руки, он согласился:

— Врежем гадам! Устроим залп “Авроры”!

Наступил праздничный вечер. В люксе Самолыча накрыли длинный банкетный стол. Группа не поскупилась, жертвуя запасы деликатесов. Стол буквально ломился от бутылок и закусок. Вошел Аршанский с банкой шпрот. Увидев стол, восхищенно прищелкнул языком. Смущенно извинился — ни одной бутылки не осталось. Все, что привез, ушло на представительские контакты.

Немецких гостей встретила специально подобранная звукооператорами музыка. Гремели

“Катюша”, “Темная ночь”, “Землянка”. Немцы были изумлены изобилием. Шумно рассаживаясь, они не скрывали восхищения: “Колоссаль! Вундербар!” Сначала, отдав дань официальной стороне праздника, Аршанский провозгласил тост за мир во всем мире, принесенный Великим Октябрем. Дитмар (так звали руководителя немецкой группы) ответил в том же духе. Он прилично говорил по-русски, был безукоризненно учтив, чрезвычайно исполнителен, но неумовимо ядовит. Глядя в его светлые прозрачные глаза, на тонкие поджатые губы, я иногда чувствовал себя стоящим на лагерном плацу.

Водка лилась рекой, все вместе дружно голосили “Подмосковные вечера” и “Катюшу”. Вечер, что называется, удался. С теми из наших, кто вызывал опасения, что после горячительных напитков их может понести не в ту сторону, была предварительно проведена профилактическая работа. Застолье шло мирно, без каких-либо инцидентов.

Сокрушительный удар последовал с неожиданной стороны. Саша Аршанский довольно часто ездил за границу, имел опыт общения с зарубежными киногруппами. Был умен, осторожен, не болтлив. Пить водку Саша умел. Что произошло с ним ноябрьским вечером в Лейпциге, впоследствии объяснить не мог. В конце стола, где рядом сидели Аршанский и Дитмар, зазвенела бьющаяся посуда. Аршанский бросился на Дитмара, хрипя: “Руки убери! Фашистятра! Гад! Ручонки свои убери!” Перепуганный до смерти немец беспомощно прикрывал ладонями голову. Я схватил Сашу. На помощь подскочил Плавник. Общими усилиями хрипящего, матерящегося Сашу вытащили из номера. Скандал. К тому же международный! Все притихли, потрясенные произошедшим. И тут маленький Самолыч решительно встал, звучно постучав вилкой по бутылке. Никогда не думал, что сиплый Самолыч умеет так говорить.

— Раны проклятой войны болят, — тихо сказал Плавник. Показал на грудь. — У меня здесь ползают осколки. Иногда боль бывает нестерпимой. У моего друга Саши погибли в блокадном Ленинграде все близкие... — Голос Самолыча задрожал. — Мама, папа, братики и сестрички...

Жалостливый перечень жертв совершенно не соответствовал фактам биографии Аршанского. Спасая товарища, Самолыч вдохновенно импровизировал.

— Бывает, когда мой друг Саша выпьет, — сокрушенно продолжал старик, — у него мутится от горя разум. Это и произошло сегодня. Пожалеем его и простим ему. Выпьем за то, чтобы никогда не было проклятой войны.

Все растроганно чокнулись.

Утром, в байковой пижаме, с бутылкой водки появился Плавник:

— Слава богу, одну зажал. Пойдем разбудим пана директора. — Так он величал Аршанского. — Я его вчера под ключ спрятал. Пусть с бутылем идет к этой сволочи мириться.

Разбуженный Аршанский с трудом вспомнил о вчерашнем скандале. Объяснить причину его возникновения не мог. Для него подобный инцидент означал конец карьеры. Выслушав версию Самолыча о гибели своих многочисленных родственников в блокаду, бедный Саша немного воспрял духом.

Неся перед собой бутылку, отправились к Дитмару. Опохмелка была весьма кстати немецкому директору. Все окончилось дружескими объятьями и даже слезами Дитмара. Прижимая к груди Аршанского, всхлипывая, он причитал, мешая русский с немецким:

— Бедные муттер и фатер! Папочка и мамочка! Кляйне киндер! Бедные маленькие детки! Простите меня!

Судя по тому, что карьера Аршанского благополучно продолжалась, Дитмар не настучал на советского коллегу.

В ленфильмовском кафе отмечали День Победы. Увидев Самолыча, я онемел. Его пиджак был

увешан боевыми орденами и медалями, как грудь породистого пса — чемпиона международных выставок. Сияли эмалью красные звезды, красные знамена, ордена Отечественной войны всех степеней. Больше всего поразил впервые увиденный редкий морской орден Адмирала Ушакова.

— Ну, Самолыч, вы даете! — потрясенный орденским великолепием, восхитился я.

— Да, — печально отозвался Саша. — Когда-то я был боевой офицер. А теперь — отрез на валенок!

Выпили. Самолыч, покашливая, рассказал, что служил на флоте командиром торпедного катера. Без тени бахвальства невесело усмехнулся:

— Смертниками были. Верхом на торпедах гоняли по Балтике. — Покашлял. — Мог бы стать Героем Советского Союза, да нервишки подвели.

Негромко рассказал, как они, торпедировав фашистский эсминец, выловили резиновый плот с немецкими моряками, подняли их на палубу своего катера. Среди спасенных оказался контр-адмирал. За потопленный эсминец и пленного адмирала полагалась “Золотая Звезда” Героя.

— Я немного немецкий знал, — тихо рассказывал Саша. — Понял, что этот сука, фашистыра в адмиральских погонах, сказал: “Обидно, что в плен взял швайне юде”. Я вынул шпалер и шмальнул гада. Велел ребятам падаль за борт скинуть. Героя не дали, выговор вlepили. На берегу десять суток “губы”. — Саша глотнул коньячку. — Не жалею. Я бы и сейчас так сделал.

Когда евреев стали потихоньку выпускать в эмиграцию, капитан Плавник уехал в Америку. Ходили слухи, почему-то в Южную.

ЧЛЕН ХУДСОВЕТА

В репертуаре анекдотического “армянского радио” был такой вопрос: “Почему скот считают по головам, а худсовет — по членам?”

Пробы актеров на главные роли фильма утверждали члены художественного совета. Режиссер обычно щедро демонстрировал на экране все свои закрома. На одну и ту же роль показывались пробы разных артистов. Чем полнее и многообразнее предьявлялись варианты, тем более тщательной и углубленной считалась проведенная подготовительная работа. На худсоветах разворачивались отчаянные битвы. Кому-то по сердцу был один артист, кому-то другой — совершенно противоположный и внешне и внутренне. Иногда артист утверждался даже голосованием!

Мне, тогда новичку, подобный способ выбора актеров казался абсурдом.

Впоследствии, утверждая актеров на свой фильм, осмелился нарушить узаконенный ритуал. Набравшись смелости, сообщил:

— Не желая переключивать на глубокоуважаемый худсовет свои обязанности по выбору актеров, показываю лишь одного претендента на роль.

Нарушение традиций — опасный поступок. Обескураженный худсовет изумленно смотрел на молодого нахала. Наконец встал элегантный, скептический режиссер Раппапорт. Герберт Морисович до эмиграции сотрудничал на знаменитой немецкой студии “УФА”. Когда пришли фашисты, вместе со своим коллегой режиссером Цинеманом бежал из Германии. Фред уехал в США и стал голливудской звездой, Герберт — в СССР, где начал служить на “Ленфильме”, считаясь крепким профессионалом. Возмущенно поглядывая через выпуклые линзы больших очков, Раппапорт процедил с легким иностранным акцентом:

— Тогда, может быть, оставить одного члена художественного совета?

Терять было нечего, я нагло согласился:

— Если член будет толковый, хватит и одного!

С тех пор на всех своих фильмах я предлагал только одного кандидата на роль.

КИНОМУЗА

Оператора Мзакира Шуракова ленфильмовцы ласково зовут Муза. В студийных коридорах любят рассказывать анекдоты, произошедшие с Музой.

В производственную терминологию операторских групп прочно вошла команда Музы, произнесенная на съемке. Находясь на стреле операторского крана, Муза приказал ассистентам:

— Подними меня пониже!

Через некоторое время крикнул:

— Опусть меня повыше!

Это “Опусти повыше!” и “Подними пониже!” стало любимой приговоркой операторов. На вопросы: “Как будем снимать? Какая нужна техника? Длина рельсов? Количество света?” — операторы отвечали: “Снимать будем по системе „Опусти повыше! Подними пониже!“”

В съемочном процессе существует так называемый “режим”. Это пятнадцать, от силы двадцать минут светового состояния перед заходом солнца. Подготовка к режимной съемке длится целый день. Сама съемка продолжается минуты. Муза сидит на операторском кране, не отрывая глаз от экспонометра. Внизу все напряженно смотрят на оператора:

— Муза, ну как?!

— Есе рано, — невозмутимо, с акцентом отвечает он.

Снизу снова нетерпеливое:

— Муза, как?!

Сверху спокойно:

— Есе рано.

Второй режиссер истошно вопит:

— Муза, как?!

Голос сверху спокойно:

— Узе поздно. Опускай кран!

В экспедиции у костра Муза неторопливо рассказывает:

— Сейчас все говорят: про аресты в тридцать седьмом ничего не знали, не понимали. Врут! Я все понимал. Написал письмо в Кремль. Что думал, написал. Про Сталина написал.

— И что тебе ответили? — спрашиваю смельчака.

— Ты совсем дурак? — беззлобно осведомляется Муза, подкладывая в огонь сучья. — Я умный. Сжег это дурацкое письмо. Иначе тогда бы у другого костра сидел. Лет десять. А может, больше. — Прикуривает от горящего прутика. — Но душу облегчил. А другие трусили, молчали!

МУСОР

Натурные эпизоды фильма “Собачий пир” снимались недалеко от Петербурга, в Ломоносове.

Давным-давно здесь располагалось поместье князя Меншикова. Ныне — ни блеска княжеских дворцов, ни хотя бы чистоты и порядка, соответствующих имени холмогорского самородка. Запущенный, ободранный городок был похож на многие провинциальные поселения. Нас устраивала подобная схожесть.

Для съемок нужен был окруженный стандартными домами двор. А в центре — свалка, на которой грызутся бродячие псы. Подходящий двор нашли. Мусорную кучу не требовалось создавать. Достоверность многолетней помойки не вызывала никаких сомнений. Ассистенты, натывав в мусор кусочки мяса, запустили привезенных собак. Псы копались в куче, рычали, грызлись. Настоящий собачий пир!

Поснимав, уехали на новогодние праздники в Питер. Встретив Новый год, вернулись продолжать съемки. Приехав, обнаружили совершенно чистый двор. Куча исчезла! Жильцы двора благодарно сообщили:

— Сколько лет безуспешно писали в разные инстанции! Умоляли, чтобы вывезли проклятую свалку! Ничего не помогало! Только начальство пронюхало — петербургское телевидение это безобразие снимает, сразу же, как вы отбыли, пригнали самосвалы. Рабочих понаехало! В один день двор очистили. Низкий вам поклон!

Вскоре во двор, к ужасу жителей, снова въехали самосвалы, но уже груженные мусором. Нам пришлось заново создавать свалку.

Ленинский лозунг “Из всех искусств важнейшим является кино”, как и многие другие пророчества вождя, устарел. Теперь “важнейшим” стало телевидение.

ТУАЛЕТНЫЙ РАБОТНИК

Героиню “Собачьего пира”, спившуюся уборщицу вокзальных туалетов Жанну, играет народная любимица Наталья Гундарева. В роли она существует озорно, бесстрашно, пронзительно достоверно. На студии перед началом съемок в гриме и костюме проводил Гундареву до кассы, чтобы помочь побыстрее получить деньги. Очередь, отталкивая Наташу, недовольно загудела:

— Куда лезешь, тетка?!

Лишь после моего увещевания “Вы что, не видите? Это актриса Гундарева!” скандалисты взгляделись — и изумленно замолкли. Вежливо расступились. Тогда сказал Наташе:

— Грим и костюм утвержден!

Красивая актриса, безжалостно превращенная гримерами и костюмерами в потрепанную жизнью алкоголичку, забыв о “звездности”, щедростью подлинного таланта живет в образе. Снимаем около мусорной кучи, где грызутся бродячие псы. Героиня Гундаревой регулярно подкармливает слабую робкую собачонку, отгоняя сильных соперников. Перед съемкой успокаиваю Наташу:

— Подходи к собакам, не бойся. Не укусят. Рядом дрессировщик.

Актриса озорно подмигивает:

— В кадре я сама кого хочешь укушу!

Вокзальный туалет снимаем в Ломоносове. Оккупировав сортир, обрядили Гундареву в резиновые сапоги и длинный передник, вручили шланг. Без малейших капризов и брезгливости начала приспособливаться к непривычной деятельности, поливая из шланга щербатый кафель пола.

Снять надо два эпизода. В одном Жанна привычно шваркает шваброй, сбивает струей грязь. В другом, обретя надежду на новую жизнь, работает лихо, радостно, с удовольствием.

Начали снимать. Около открытых дверей туалета непредвиденно скопилось несколько

нетерпеливых клиентов. Переминаясь с ноги на ногу, они требовали:

— Тетка! Кончай гигиену! Обделаемся!

Оператор находчиво перевел камеру на неожиданных участников съемки, затем снова вернулся к нерастерявшейся Гундаревой. Направив струю шланга на мужиков, азартно поливая страдальцев, она веселилась:

— Не маленькие! Потерпите!

Не замечая кинокамеры, взбешенные подмоченные мужики кинулись на Гундареву:

— Чего, стерва, хулиганичаешь?! Щас схлопочешь!

Неустрашимая актриса, продолжая существовать в образе Жанны, радостно поливала орущих. Понимая, что мужики могут всерьез поколотить Наташу, ринулся вперед:

— Ребята, идет киносъемка! Перед вами Наталья Гундарева!

Мужики оторопели, наконец обратив внимание на осветительные приборы и съемочную камеру. Недоверчиво разглядывая Наташу в длинном резиновом переднике и сапогах, один ахнул:

— Ей-богу, она! Век воли не видать!

В городке поползли слухи: знаменитая артистка не то в магазине, не то в парикмахерской, может, просто на улице, учинила скандал. Звезду осудили на пятнадцать суток. Артистка проводит срок наказания, убирая городские сортиры. Чтобы народ знал, что у нас все равны и никому ничего не проходит даром, знаменитость, моющую вокзальный туалет, снимало телевидение. Вечером сенсацию покажет программа “Время”. Жители, напрасно приникшие к телевизорам, были крайне разочарованы. Болтали, что начальство решило не позорить любимую народом артистку...

За лучшее исполнение женской роли Гундарева получила призы международного Монреальского кинофестиваля и отечественного “Созвездие”.

КОНСУЛЬТАНТ

Персонаж “Собачьего пира”, которого будет играть Сергей Шакуров, недавно освобожден из заключения. Везу Сережу в лагерь для знакомства с жизнью зеков. Начальник лагеря предлагает:

— Карцер хотите посмотреть? Настоящего урку покажу.

Сухощавый, спокойный, пожилой мужик — вор в законе — немногословен. Наш приход не произвел на него впечатления. Оглядев визитеров, ткнул пальцем в сторону Шакурова:

— Артист? В кино тебя видел.

Пренебрежительно глянул на меня:

— Этот, похоже, режиссер?

Коротко ответил на вопросы Шакурова. Когда прощались, покровительственно хлопнул Сережу по плечу:

— Будут проблемы, заходи!

ЭКРАН И ЖИЗНЬ

Наивная вера зрителя в подлинность экранных персонажей и событий беспредельна. Возможно, заботливый вопрос Леонида Брежнева о здоровье детей радистки Кэт, героини “Семнадцати мгновений весны”, не анекдот, а чистая правда.

Фильм “Последний побег” снимаем в спецшколе для подростков, скромно именуемых “трудными”. Героя — руководителя духового оркестра спецшколы — играет Михаил Ульянов. Неугомонный старик с одной ногой и одной боевой медалью неугомонно борется за справедливость. Облик нашего героя совсем не героичен — кургузый пиджачок, нелепые широкие штаны, выгоревший беретик. Подвыпивший работяга пристально вглядывается в артиста. Раздвинув толпу зевак, решительно шагает к Ульянову. Вытягивается, бросает руку под ломаный козырек кепчонки:

— Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза! — Качнувшись, горько добавляет: — Что же они, сволочи, сделали с тобой, дорогой наш товарищ Жуков!

Сценарий фильма написал тогда еще начинающий драматург Александр Галин. Саша некоторое время работал воспитателем в Сланцевской колонии. Прообразом героя фильма стал руководитель колониетского духового оркестра. Галин даже оставил экранному персонажу имя, отчество и фамилию подлинного музыканта — Алексей Иванович Кустов. Создавая образ, драматург сохранил некоторые черты характера Кустова, его своеобразную лексику. Но конечно, многое сочинил, добавил, обобщил.

Снимали мы в Сланцевской спецшколе. Там и встретились два Кустова. Настоящий — крупный, грузноватый, с бритой головой — подозрительно разглядывал нашего, хромавшего на протезе. У настоящего были обе ноги. Скептически осмотрел выгоревший беретик на голове Ульянова, кургузый пиджачок, рубашку, подвязанную тесемкой:

— На меня не похож. Хотя и народный.

Кустовы пожали друг другу руки и дружелюбно пообщались. Саша Галин передал нам стопку кустовских писем. Там были забавные словечки и фразы, которые мы брали на вооружение. Вместо примитивного “Я выпил”, Алексей Иванович писал: “Находясь под дезинфекцией”.

Присутствие на съемках настоящего Кустова часто становилось опасным. Он категорично вмешивался, поправлял, непреклонно уточнял:

— Этого не было! Сашка из башки придумал! Такого ни в жисть не говорил!

С трудом укрощали правдолюбца. Гордо сообщал персоналу спецшколы:

— Завтра снимают, как я в клубе пупитры ломаю!

Увидев на съемке, что “пупитры” ломает не Кустов, а обиженный воспитанник, которого играл школьник Алеша, ныне известный артист Алексей Серебряков, скандалит:

— Все вранье! Позволил бы я пацаненку инвентарь рушить?! Сам в сердцах расколотил! Что было, то было!

Наблюдая за съемками, Кустов упрямо отстаивал буквальную правду жизни. Снимаем сцену в буфете. Ульянов—Кустов, отодвигая бутылку пива, говорит зятю:

— Хватит с тебя. Ты и так под дезинфекцией!

Притаившийся в углу настоящий Кустов, нелегально проникший на съемку, после первого дубля решительно заявляет:

— Стоп машина! Никакой такой “дезинфекции” в моей речи нет и не бывало!

Желая наконец укротить старика, злорадно показываю его письмо:

— Алексей Иванович, кто это писал?

Старик на мгновение теряется, затем, пренебрежительно ухмыляясь:

— Не все, что пишется пером, говорится ротом!

После выхода картины на экран получил от Кустова письмо-рецензию: “Посмотрел вместе с законной супругой в кинотеатре „Звезда“ ваше кино. Сидела за пять рублей в девятом ряду. Зритель смотрел, можно сказать, отзывчиво. Иногда даже смеялся. Когда я умер, некоторые пролили слезу. Хотя и неправильно показывать про живого еще, что он помер, ругать вас не хочу. Но когда будете делать новые киносьемки, пусть там будет больше чистой жизненной правды, чем в этом кино. К сему, без лишней обиды, руководитель художественного духового оркестра школы специального назначения Алексей Кустов”.

В фильме неугомонный Кустов разучивает с хором пенсионерок песню. Снимали подлинный хор местного клуба. Приодетые к съемке бабушки терпеливо жмурятся от света устанавливаемых приборов. В сторонке оговариваю с Ульяновым подробности эпизода. Обращаюсь к бабушкам:

— Все готово, дорогие? Будем снимать?!

Решительно подымается крохотная старушенция.

— Ишь какой шустрый! Будем сымать! — ехидно. — Ты Ульянова рапитировал?! Теперь меня рапитируй!

НАРОД НЕ БЕЗМОЛВСТВУЕТ

Дворовый алкаш Миша останавливает меня, укоризненно качая головой:

— Плохо работаешь. Вчера газетку читал. Госпремии объявлены. Тебя нет. Надо подтянуться!

Миша “за рубчик” чинит водопровод, электричество, красит, пилит. Все делает одинаково плохо. Язвительно говорю:

— Ты два дня назад плитку в ванной чинил. Все к черту обвалилось!

Спокойно сплевывает:

— Я рабочий класс. Мне положено туфту гнать! А ты — интеллигенция. Ты в долгу перед народом. То есть передо мной. Долги отдавать надо! — протягивает заскорузлую ладонь. — Рубчик есть? Трубы горят! — характерно щелкает по горлу.

Не могу устоять — возвращаю “народу долг”.

Партийный руководитель, посмотрев фильм, глубокомысленно изрекает:

— Артистка неплохая. Но драматургии в ней маловато.

Старая нянька с пожилой подружкой пьют в кухне чай. Говорят обо мне. Прислушиваюсь к неторопливой беседе. Гостья спрашивает:

— Ну, как твой воспитанник?

Нянька профессионально:

— В простое он.

Гостья недоуменно:

— Это что значит? Стоит все время? Зачем?!

Нянька снисходительно:

— Лежит он. На диване. Ищет!

— Кого?

Нянька:

— Дура ты, Марья. Сужет он для кина ищет!

Юрий Никулин рассказывал. Снимаясь в фильме “Когда деревья были большими”, играл пьяницу-неудачника. В перерыве решил выпить кружку пива. Артист в мятом пиджачке, затрепанной кепчонке, подошел к пивному ларьку рядом со съемочной площадкой. Увидев очередь, Никулин, потоптавшись, собрался уходить.

Один из очередников, узнав артиста, с воплем “Юрик пришел!” бросился к нему. Очередь шумно раздвинулась, благожелательно пропуская Юрия Владимировича к заветному окошку. Никулин с кружкой отошел в сторону. Сдувая пену, готовился отхлебнуть глоток. Сунулся тщедушный мужичок, прижался к плечу артиста, всхлипнул:

— Пей, разпи...яй ты наш!

Никулин сказал:

— В ту минуту понял — пришла слава!

Академик Александр Георгиевич Габричевский, человек блистательной эрудиции, с гордостью рассказывал:

— Самой высокой оценкой моей личности полагаю такой случай. Ехал, подремывая, в трамвае. Незадолго мы с Нейгаузом вкусили толику коньячка. Кто-то довольно бережно потряс меня за плечо. Открываю глаза — надо мной склонился находящийся слегка подшофе пролетарий. Чрезвычайно вежливо спросил: “Профессор, у вас наверняка есть штопор? Не пожалейте, разрешите воспользоваться!”

Александр Георгиевич тихо смеется.

— Спросил, по какому признаку изволили определить, что обладаю этим инструментом. Помялся: “Нос у вас, профессор, извините, нашенский — с красинкой”. — Габричевский хмыкает. — У меня всегда от мороза нос краснеет... Каков молодец! А?!

БИТОЧКИ ПО-МИНИСТЕРСКИ

Состоял в жюри Всесоюзного кинофестиваля, проходящего в Киеве. На заключительном банкете присутствовало высшее руководство Украины. Прибыл сам Председатель Госкино Филипп Тимофеевич Ермаш. Жюри фестиваля удостоили чести сидеть за столом вместе с номенклатурными лицами. Пренебрегая столь значительной компанией, я предпочел общаться с ленфильмовской делегацией. В разгар праздничного застолья ко мне подошел чиновник кинодепартамента:

— Министр недоволен, что ты тут сидишь. Велел занять место среди членов жюри.

Выполняя приказ, явился к начальственному столу. Ермаш, неодобрительно глянув на меня, громко сказал соседке — пухлой даме, заместителю Председателя Верховного Совета республики:

— Этот режиссер такие фильмы, как “Паганини”, делает Лапину. Мне таких не снимает!

Ответил ему вежливо, но так же громко:

— Филипп Тимофеевич, картины мы делаем не вам и не Лапину, а советскому зрителю!

Хмыкнув, министр отвернулся. Не могу сказать, что после банкетной встречи мои отношения с Ермашом улучшились.

Задумав фильм о гибели Пушкина, понимаю: артиста с приклеенными бакенбардами, изображающего поэта, не будет. Пушкина должны сыграть друзья и враги. Прямые и косвенные участники трагедии. Масштаб темы требует разрешения высших инстанций. “Ленфильм” не может самостоятельно приступить к работе над таким фильмом. Директор студии сообщает, что беседовал с министром. Он категорически против этого замысла.

Преодолевая уже подпорченную стараниями директора ситуацию, с трудом добиваюсь аудиенции с Ермашом. Небрежно слушая меня, он что-то чертит в блокноте:

— Сколько лет Марлен возился, — речь идет о режиссере Хуциеве, — кучу денег истратил, а подходящего актера на Пушкина не нашел! Почему должен верить, что у вас получится?

Снова терпеливо разъясняю: поэта, как реально действующего лица, в фильме не будет.

Недоуменный взгляд:

— Умничаете?! Если нет Пушкина, кому нужна ваша затея?

К власти пришел Горбачев, политический климат смягчился...

Грозный министр, шагая в ногу со временем, милостиво предлагает:

— В следующем году шестидесятилетие Великого Октября. Ведущим режиссерам надо к этой дате фильмы снимать! Подумайте. Гарантирую госзаказ! — Заканчивая, дружески протягивает руку: — А Пушкина без Пушкина забудьте!

То, что, вопреки министру, фильм “Последняя дорога” был все же снят, — заслуга вновь назначенного тогда главным редактором Госкино Армена Медведева.

Постепенно становилось ясным: всеильный Ермаш утрачивает непререкаемую власть над отечественным кинематографом. Последующие события, связанные с производством фильма, подтвердили это.

Сделать сложную картину по стандартному финансированию было невозможно. Требовался так называемый госзаказ, значительно увеличивающий стоимость фильма. Подобные вопросы всегда решал только сам Ермаш. Он был в отпуске. Армен Медведов дипломатично использовал это обстоятельство. Привел меня в кабинет первого заместителя министра Николая Трофимовича Сизова. Было жарко. Тучный бывший генерал в рубашке с короткими рукавами сидел, подставив лицо под струю вентилятора. Главный редактор коротко изложил суть проблемы. Упомянул, что обычно вопрос госзаказа решает только министр. Лукаво помолчал:

— ...Но Филипп Тимофеевич в отпуске...

Сизов, открыв пачку сигарет “Мальборо”, закурил.

— Можно решить вопрос и без министра. — Размашисто подписал приказ о запуске фильма в производство по государственному заказу.

Тогда в кабинете Сизова отчетливо понял: карьера Ермаша заканчивается. Вскоре в Кремлевском дворце прошел знаменитый съезд Союза кинематографистов. Товарищ Ермаш покинул министерское кресло. Его уход не огорчил киношников.

“ШТУРМ ЗИМНЕГО”

1986 год. Все чаще звучит странное словцо — “перестройка”. Изменения в политическом климате страны еще мало заметны. Легкие послабления напоминают чахлые, бледные листки растений, выросших без солнца в темноте подвалов. Но все же что-то явно меняется.

Заканчиваю фильм о гибели Пушкина — “Последняя дорога”. Ежедневно приходится преодолевать организационные препятствия. Превратить современный Ленинград в Петербург непросто! Мешает все — электрические провода, дорожные знаки, вывески, телевизионные антенны. Если даже обычный пешеход влезает в игровое пространство, он может погубить с таким трудом выстроенный кадр.

Каждый шаг требует разрешений, согласований с городским начальством различного уровня. Съёмки в особняках, замена уличных фонарей, милицейское оцепление — все решается резолюциями, аудиенциями, преодолением косного сопротивления. Картине необходима достоверность эпохи — кареты, мундиры, ордена и, конечно, интерьеры. Добиться разрешения снять несколько важных эпизодов в Зимнем дворце пока не удастся. Дирекция киностудии беспомощно разводит руками:

— Нам такой вопрос решить не по силам!

Чиновники Госкино дипломатично устраняются:

— Во главе вашего города — член Политбюро, — имеется в виду товарищ Романов, — мы на такой уровень не можем выходить. Договаривайтесь сами!

В Москве открывается ставший знаменитым Пятый съезд Союза кинематографистов, от Ленинграда едет представительный отряд. Я — в числе делегатов. Заседания проходят в Кремлевском зале, где обычно сидят на сессиях депутаты Верховного Совета. В первый день на трибунах все правительство, во главе с Горбачевым. Постепенно высшее руководство исчезает. На все время, что идет съезд, остается лишь один представитель высшей власти — большеголовый, с простым крестьянским лицом. Узнаем: это секретарь ЦК партии Александр Яковлев. С интересом поглядывая на ораторов, внимательно, сосредоточенно слушает, иногда что-то записывая. За дубовым барьером одиноко сидит седой Бондарчук. Он напоминает чем-то подсудимых Нюрнбергского процесса...

На трибуне кипят революционные страсти. Накал выступлений, степень откровенности и жесткости требований с каждым часом увеличиваются. В перерыве один из стоящих у дверей молодых людей с непроницаемыми лицами, в одинаковых темных костюмах недоуменно усмехнулся:

— Такого этот зал еще никогда не слышал!

Обедаем в кремлевской столовой. На закуску — солидный ломоть осетрины или семги, на первое — густая солянка, на второе — сочный бифштекс. Сладкое — пирожное. Стоимость около полутора рублей — цена обеда в рабочей столовке. Леша Герман, обтирая рот белоснежной салфеткой, громогласно заявляет:

— Мне нравится, как в Кремле кормят!

Несколько тише ехидно уточняю:

— Не тебе одному. Тут своих едоков хватает...

Вместе с нашей делегацией на всех заседаниях присутствует неизвестная худощавая женщина. Кто-то из лентфильмовцев шепотом информирует:

— Это секретарь горкома товарищ Жданова...

Дама со знаковой для города фамилией сидит с властным выражением лица. Изредка недовольно

морщится, что-то быстро записывая. По мере того как дебаты на трибуне становились горячее, ораторы смелее и смелее, лицо дамы постепенно смягчалось, она даже начала улыбаться краешком губ.

На второй день съезда товарищ Жданова снизошла до общения с ленфильмовцами. За обедом, сев рядом со мной, по-свойски поинтересовалась: над чем тружусь? Как идут дела? Вежливо ответил, вскользь упомянув о невозможности проникнуть в Зимний. Секретарь горкома, изящно надкусив пирожное, сделала вид, что не услышала меня...

Недавно снимал в главной роли Михаила Ульянова. Он тоже был делегатом съезда. В перерывах мы с ним прогуливались, беседуя, держались рядом даже при коллективном посещении Мавзолея.

Заметив наши дружеские отношения, товарищ Жданова призналась, что Ульянов — ее любимый артист, и попросила познакомить с ним. Я, конечно, выполнил просьбу. Она, краснея и смущаясь, как обычная поклонница, поговорив со своим кумиром, искренне благодарила меня за доставленную радость.

После оглушительных перевыборов руководства Союза кинематографистов на заключительном банкете партийная начальница окончательно превратилась в нормальную, вполне привлекательную женщину. Откровенно говоря, у меня мелькало желание воспользоваться возникшим контактом и попросить товарища Жданову помочь проникнуть в Зимний дворец. Удержала гордость — не хотелось, чтобы она подумала: дай этим киношникам малейшее послабление, сразу с просьбами лезут!

Прощаясь, товарищ Жданова черкнула несколько цифр на банкетном пригласительном билете:

— Мой служебный телефон. Понадоблюсь — звоните.

Перевоплощение, произошедшее с номенклатурной особой, помогло слову “перестройка” стать реальным, осязаемым понятием, возможностью грядущих перемен.

Директор студии сокрушенно сообщил:

— Съёмки в Зимнем дворце категорически запрещены. — Пользуясь, как всегда в подобных случаях, стандартной формулировкой, посоветовал: — Ищите творческое решение.

Я предложил переговорить с товарищем Ждановой. Посмотрев на меня с жалостью, директор наотрез отказался от бессмысленной попытки. Тогда я попросил разрешения позвонить по директорской “вертушке”.

Набрав телефон секретаря горкома, поздоровался с ней как с доброй приятельницей, изложил суть нерешаемой проблемы. Выслушав, она негромко обронила:

— Я никогда ничего не забываю. Вашу информацию о производственных сложностях запомнила.
— Помолчав, многозначительно произнесла: — Товарищ Романов не возражает против съёмок фильма о нашем великом поэте на территории Эрмитажа.

Узнав, что говорю из кабинета директора, велела дать ему трубку. Он ошеломленно встал. Слушал, покорно кивая. Закончив разговор, посмотрел на меня с опасливым недоумением. В кабинет тихо вошла секретарша:

— Вас просит заместитель директора Эрмитажа по административной части.

Представители дирекций коротко побеседовали. Руководитель “Ленфильма” заверил:

— Чистоту и порядок гарантирую лично. Паркет не повредим. — Положив трубку, повернулся, покровительственно хмыкнув: — Вопрос решен! А вы паниковали! — Внушительно добавил: — Сами проверьте, чтобы на музейные полы постелили картон.

Хотя директор пыжился, но на меня он смотрел испуганно, как министр Временного правительства на матроса, ворвавшегося в дворцовый зал...

На съемках группа ходила в музейных тапочках. Разговаривали шепотом, работали бесшумно. Сняли беседу воспитателя наследника престола Жуковского и министра просвещения графа Уварова на беломраморной парадной лестнице дворца. Исполнители ролей — Александр Калягин и Альберт Филозов — совершенно соответствовали архитектурной роскоши. Толпа придворных в расшитых мундирах, шепчущаяся о дуэли Пушкина в предтронном зале, выглядела достоверно. Эти эпизоды значительно укрепили подлинность атмосферы времени, необходимой стилю фильма.

Зимний дворец и в этот раз был взят без боя...

РЕПИНСКИЕ ЭТЮДЫ

Речь не о полотнах великого художника, а о Доме творчества кинематографистов в поселке Репино, на берегу Финского залива.

Яков Львович Ронкин был многолетним директором, гостеприимным хозяином Дома творчества. В дни войны он занимал какой-то важный пост в юридической службе армии. Отсюда легенда о его чекистском прошлом. Репино стало своеобразным загородным клубом ленинградских кинематографистов. Приезжали туда и москвичи. Вечерами в уютном кинозале смотрели новые фильмы, допоздна просиживали в баре. Ронкин построил даже сауну, где жарились шашлыки. Баром и сауной одновременно заведовал хлопотливый и вздорный бывший танцор. Директор дома и руководитель барно-банной службы вечно ссорились, выясняли отношения. Ронкин безуспешно перевоспитывал капризного старика.

В Репино сложились свои традиции. Обязательно устраивались встречи Нового года. Стены украшались шаржами, шутливыми плакатами. Шумное застолье перемежалось импровизированными выступлениями. К микрофону подходили знаменитые артисты, режиссеры, писатели. В Репино подолгу жил Аркадий Райкин, приезжала Раневская. Звездный состав был посильнее, чем на телевизионном “Голубом огоньке”! Читали специально написанные фельетоны Аркадий Инин и Семен Альтов. При подготовке праздничных вечеров шутили и развлекались от души! На одной из встреч Нового года декорированием руководил режиссер Игорь Масленников. Развешивали цветные гирлянды, флажки, серебристый дождь, рисовали шуточные плакаты. Тогда я снимал фильм “Никколо Паганини”. Изобразили меня — неистово колотящим по клавишам рояля, со скрипкой за спиной... Текст гласил: “Тремит на съемках Паганини „Собачий вальс“ на пианине!” Конечно, я не обиделся, но отомстил! Пошел к художникам, нарисовал большой плакат-карикатуру: Масленников верхом на драной лохматой собаке. Художники одобрили, подтвердили сходство. Шарж сопровождали строки: “Во мрак веков сошла бесславно принцесса ваша Ярославна (Игорь снял не очень удачный фильм “Ярославна, королева Франции”), но шустро вывезла из мрака вас Баскервильская собака!” Пояснять, что имелся в виду телевизионный “Шерлок Холмс”, не надо!

Днем в номерах постукивали пишущие машинки. Многие впоследствии известные фильмы рождались в Репино. Между веселыми застольями, шуточками, розыгрышами возникали содружества сценаристов и режиссеров. Появлялись интересные замыслы тем и сюжетов.

ШПРОТИКИ

В Доме творчества подолгу жил известный кинорежиссер Владимир Венгеров. У него был постоянный номер на первом этаже и персональный столик в столовой. Сидели за его столиком избранные. Этой чести был удостоен и я. Венгеров был эдаким “патриархом”, хранителем репинских устоев.

Недавний выпускник ВГИКа молоденький Володя Венгеров работал под началом моего отца ассистентом на картине “Великий перелом”.

— Худшего ассистента, чем Венгеров, — говорил отец, — я не встречал.

Исполняющий эту должность, как говорится, “прислуга”. Отвечая за все накладки, организационные промахи, отец, как второй режиссер, нещадно жучил нерадивого ассистента. Венгеров опаздывал, забывал вызывать актеров, не привозил реквизит. По выражению отца, “все время где-то витал”. Догадываюсь, в каких сферах “витал” молодой художник, вместо того чтобы бегать по съемочной площадке. Однажды отец жестоко распекал при всей группе провинившегося ассистента. Володя покорно выслушивал разнос. Постановщик фильма, знаменитый Эрмлер отвел отца в сторонку:

— Не трогай мальчишку. У него в ж... больше ума, чем у нас с тобой в башке.

К чести Володи, у них с отцом сохранились самые дружеские отношения. Венгеров, когда мы выпивали у меня дома и заходил отец, с удовольствием вспоминал совместную работу в дни юности. Посмеивался:

— Если бы сегодня на моей картине появился засранец вроде тогдашнего меня, я бы его через день вышиб!

Мы сблизилась с Володей еще до моего прихода на “Ленфильм”. Не записывая себе в друзья Венгерова, могу сказать: мы были приятелями в полном смысле этого слова. Побывав на моем кино-театральном спектакле типа чешской “латерна-магика”, Володя, шевельнув усами, сказал:

— В кино тебе надо уходить.

Меня позвали на “Ленфильм”. Снял картину. Все чаще и чаще нас сводили ленфильмовские коридоры и так называемый “творческий буфет”, где продавали коньячок. В объединении, где хударком был Венгеров, собрались, как на подбор, режиссеры небольшого роста — Гриша Аронов, Резо Эссадзе. Директор объединения Малышев тоже невысок. Да и Венгеров не был великаном. Володино объединение студийные остроумцы прозвали “шпроты”. Соответственно самому Венгерову присвоили кличку Шпрот. Вопреки кликухе, Володя стремительно наращивал авторитет художника. После очередной Володиной премьеры, кажется, это был “Живой труп”, шумно покинув ресторан Дома кино, решили продолжить банкет у меня дома. Загрузились в новенькую Володину “Волгу”. Такой автомобиль тогда был высшим шиком. В салон набилась куча гостей. Совершив недозволенный поворот, подъехали к моему дому. Раздался свисток. Изумленный милиционер, оглушенный хохотом, алкогольными парами, а главное, количеством пассажиров, потребовал водительские права хозяина машины. Пытаясь смягчить справедливое негодование блюстителя порядка, я объяснил: едем с премьеры фильма известного режиссера. На душе праздник! Перечислил Володиные фильмы. Когда назвал “Два капитана”, милиционер, козырнув, отдал Володе права:

— За такое кино товарищ Венгеров может нарушать. Но не сильно!

Этой встречей Володя был доволен, пожалуй, больше, чем премьерными аплодисментами. Подымаясь по лестнице, повторял:

— Может нарушать! Но не сильно! — Подмигнул. — Вот и слава приходит!

Совместное житье в Репино еще больше сближало нас. Вечерами у Володи в номере сидели допоздна. Спорили, обсуждали кинематографические новости, фильмы коллег. Хозяин был интересным, парадоксальным собеседником. Мне нравился холодноватый юмор Венгерова. Оглядев переполненный обеденный зал, Володя сказал, усмехаясь:

— Старые евреи в новых джинсах.

Сидеть за нашим столиком удостоились приезжие москвичи, известные драматурги Зак и Кузнецов. Исай Кузнецов, задумчиво помешивая только что принесенный борщ:

— Странный акцент у этой официантки...

Венгеров спокойно:

— Русский. Вас это удивляет?

Доставалось иногда и Венгеру. Сидели у меня в репинском номере. Выпивали. Участвовал в застолье директор Дома творчества Ронкин. Яша был заядлым любителем розыгрышей, острословом. Лукаво поглядывая на Венгерова, неожиданно попросил мою жену:

— Аллочка, угости шпротиком. Очень шпротика хочется!

Послышались легкие смешки. Зная Володину кличку, смущенная хозяйка сделала вид, что приняла ронкинскую провокацию за случайную бестактность. Желая быстро замять неловкость, подвинула шутнику закуску:

— Яшенька, вот колбаска, сыр. Селедочка.

Ронкин не сдавался, продолжал канючить:

— Шпротика охота!

Венгеров невозмутимо потягивал коньяк. Ронкин продолжал клянчить:

— Хочу шпротика!

Володя встал, вышел из номера. Через несколько минут вернулся с баночкой шпрот. Со стуком поставил консервы перед Ронкиным:

— Заткнись, старый обжора!

На зимние каникулы приехали в Дом творчества студенты. Девушки охотно посещали номер известного кинорежиссера. Володя замечательно читал стихи Пушкина. Помнил наизусть чуть не всего “Онегина”. Из его магнитофона звучала редкая тогда западная музыка, всегда имелась бутылочка хорошего коньяка. И сам хозяин был интересным собеседником. Парни ревновали, решили отомстить мэтру.

Володя с очередной гостьей, слушая музыку, выпили по рюмашке. Барышня пошла в туалет. В репинском доме он был совмещен с ванной. Как только девушка вошла в туалет, раздался истошный вопль. Перепуганная насмерть гостя выскочила, размахивая руками. Венгеров пошел посмотреть, что вызвало ужас студентки. Распахнув дверь, мужественный Володя содрогнулся, увидев кадр фильма ужасов знаменитого Хичкока: освещенное призрачным синим светом, в ванне белело крупное тело безногой женщины. Отдышавшись, Володя разгадал этот постановочный трюк: в ванне лежала гипсовая девушка с веслом. Нижняя часть ног и весло были отбиты. Эффект довершала синяя лампа, ввинченная в плафон.

Гипсовая девушка лежала в снегу под балконом Венгерова до весны.

Одна венгеровская реплика, как-то брошенная мимоходом, стала достоянием истории Дома творчества. Поползли слухи, что в сельмаге поселка Рощино продают финские модные костюмы. У Володи в очередной раз барахлил мотор его постаревшей “Волги”, и экспедиция на моем “жигуленке” отправилась добывать заветный импорт.

Отыскиваем захудалый деревенский магазинчик. На полках — чугунные сковородки, горшки и прочая чушь. Сонная продавщица лениво сообщает: на прошлой неделе были какие-то заграничные шмотки. Куплены.

На грязной улице дождь со снегом. Выходит Венгеров, подняв воротник пальто. Мимо пробегают тощие грязные собаки, бредет в дымину пьяный мужичонка. Володя мрачно оглядывается, шевельнув прокуренными усами, негромко цедит:

— Интересно... Но надоело.

Это изречение прочно вошло в репинский фольклор.

Володя снял много достойных картин. Но, думаю, главного фильма, который он мог сделать, не было. Он все чаще вынимал из заднего кармана брюк плоскую фляжку с коньяком. Столкнулись как-то на винтовой лестнице Дома творчества, ведущей в столовую. Володя глотнул из фляжки, плотно завинтил пробку. Сказал просто. Констатируя:

— Спиваюсь потихоньку. И никому до этого нет дела.

БУЛЬ-БУЛЬЧИК

Весьма примечательным постояльцем дома был профессор Исаак Давидович Гликман. Громогласный, многознающий и остроумный. Близкий друг Шостаковича. Выступая на худсоветах “Ленфильма”, вещая глубоким красивым басом, потрясал красноречием и хрестоматийными знаниями. В будничной жизни профессор был общительным, компанейским собеседником. Откровенно рекомендовал себя “поклонником Бахуса”.

Появлялся к обеденному столу, неся на пальце, воткнутом в горлышко, початую бутылку водки. Смачно выпивал рюмку, занюхав коркой черного хлеба. Традиционную процедуру профессор именовал: “Этвас (по-немецки “немного”) буль-бульчик!”

Гликман любил переименовывать имена. Свою строгую супругу Гликман прозвал “дама с фирулой”. Мою жену Аллу величал “Аллесса”, я был “Леонидус”. Я в отместку называл профессора Исакейро.

Директор “Ленфильма” Киселев завистливо млея перед феноменальной эрудицией профессора. В лексике Исакейро директор студии именовался “Кисельман”.

С “буль-бульчиком” произошла забавная история. За обедом Гликман обратился ко мне и Саше Аршанскому дипломатично, изысканно:

— Кажется, мои юные друзья нынче вечером в одном из апартаментов затевают “буль-бульчик”?

Мы подтвердили: интуиция профессора не подвела. Дон Исакейро величественно поведал:

— Имеется слегка початая бутылочка “буль-бульчика”. Полагаю, прихватив означенный сосуд, не испорчу компании?

Мы, конечно, пригласили профессора. Явился он вовремя, но обещанной бутылочки не принес. Никто на это не обратил внимания. Выпивки было достаточно. Вечер удался! Хохотали, дурачились. Гликмановский бас гремел над столом. Но, как всегда бывает на пирушках, водки не хватило! Бар уже закрыт, достать негде. Все как-то заскучали... И тут я вспомнил гликмановскую бутылочку, с которой он собирался прийти. Исакейро замаялся, потом объяснил: вышло досадное недоразумение — он не обнаружил драгоценного сосуда!

— Старческий маразм! — пожаловался профессор. — Принял желаемое за действительное! Забыл, что “буль-бульчик” израсходован.

Я отвел на балкон Сашу Аршанского:

— Старик врет. Сердцем чую, зажал водяру!

Гликман жил на том же втором этаже, через два номера от моего. Саша, разогретый выпитым, увидев открытую на балкон дверь гликмановского номера, принял решение: “Долезу!” — и отважно двинулся по неширокому поребрику второго этажа.

Через несколько минут, уже через дверь, высоко подняв бутылку, появился торжествующий Аршанский. Героя встретили овациями. Больше всех талантом Саши восхищался Гликман:

— Великий Александрус еще раз доказал, что для гениальных людей нет невозможного!

На вопросы, где удалось добыть заветную бутылку, Саша не отвечал. Многозначительно улыбался.

Наутро, к самому концу завтрака, явился хмурый Гликман:

— Опять каша! — нехотя поковыряв надоевшую еду, зло отодвинул тарелку. — Черт знает что стало происходить в этом доме! Утречком после вчерашнего пиршества хотел поправить здоровье. В холодильнике была припасена почти целая бутылочка “буль-бульчика”. Исчезла! Испарилась! Воруют! По номерам шарят!

Мы с Аршанским переглянулись. Саша ласково заметил:

— Вы, наверное, забыли, что исчезновение заветной бутылочки обнаружили еще вчера, перед уходом на банкет?

— Мда-с... — пробурчал любимое междометие Гликман. — Удаляюсь к своим манускриптам...

С профессором произошла история значительно более драматичная, чем исчезновение “буль-бульчика”. Он не принял фильм Тарковского “Андрей Рублев”. Аргументируя цитатами из летописей, цитируя знаменитых российских историков, профессор громил замысел и стиль картины. Утверждал: фильм беззастенчиво демонстрирует историческую и эстетическую безграмотность автора. Мы жарко спорили. Восхищаясь “Рублевым”, я упрекал Гликмана в профессорском высокомерии, консерватизме. Исакейро, консультировавший фильм-оперу “Князь Игорь”, высоко оценивал художественные достоинства картины, историческую достоверность. Я иронизировал, что эстетические критерии профессора ограничиваются “Тремя богатырями” Васнецова...

В Репино приехал Андрей Тарковский. Тогда лицо режиссера еще не появлялось на страницах газет и журналов. Те, кто не был знаком с Тарковским, спокойно проходили мимо худощавого парня в потертых джинсах. Вечером в уютном баре Гликманейро за рюмкой коньяка вновь громогласно поносил “Рублева”. То, что за соседним столиком — автор фильма, профессор не знал. Кто-то все же шепнул Гликману, чтобы он угомонился — дескать, рядышком сидит Тарковский. То ли профессор не расслышал, то ли не обратил внимания на предупреждение. Он продолжал витийствовать. Тарковский, шевеля впалыми скулами, слушал. Когда Гликман трагически провозгласил:

— Ваш Тарковский ни черта не смыслит в русской истории! Татарское иго было благом для темной России! — Тарковский не выдержал.

Андрей Арсеньевич был мальчиком московских дворишков. Умел лупить обидчиков. Хрипло крикнув: “Бей гадов!” — схватив бутылку, кинулся на Гликмана. Тучноватый профессор с неожиданным проворством бросился бежать. Тарковский с бутылкой гнался за ним. Они носились по коридорам Дома творчества до тех пор, пока Гликман не заскочил в открытую дверь чьего-то номера с воплем:

— Спасите! За мной гонится сумасшедший Тарковский с бритвою в руке!

Некоторое время спустя Исакейро задумчиво обронил:

— Недавно снова довелось смотреть вашего “Рублева”... — Пожевал губами. — Мда-с... Мои прежние оценки не совсем верны... — Опять пробурчал любимое: — Мда-с...

БРОВИ

Заговорщицки подошел директор Дома творчества Яков Львович Ронкин:

— Ты должен подать мне руку помощи... Вечером принимаю райкомовскую ведьму. Уговорил

приехать! Выручай, посиди с нами? Расскажи кинобайки, истории о знаменитых артистах. Расшевели железную тетку!

Яша не раз жаловался:

— Первый секретарь курортного райкома партии не очень любит кино, не признает Дом творчества кинематографистов и совсем не жалуется бедного Ронкина.

Он давно собирался позвать в гости номенклатурную тетку, чтобы наладить с ней отношения. По словам Яши, Надежда Константиновна Крупская в сравнении с райкомовской начальницей — разнузданная куртизанка.

— В кабинет к этой стерве страшно входить! — жаловался Ронкин. — Слова человеческого не скажет, одни параграфы!

Вечер предстоял веселый! Бросить товарища я не мог. В назначенное время отправился с женой к Ронкиным. У них была двухкомнатная квартирка в служебном доме рядом с главным корпусом. Для приема приготовлен роскошный стол. Раздался визг тормозов, Ронкин выглянул на балкон: “Прибыла!” — выскочил на лестничную площадку встречать высокую гостью. В передней послышался густой женский бас. Распахнулась дверь и величественно прошествовала Сама. Сопровождал персону маленький плюгавый тип, тоже райкомовский секретарь, но значительно меньшего ранга. Главная гостья не глядя протянула крупную руку, тряхнув мою ладонь, как здоровенный мужик. Заметил, что ногти хозяйки района блестят ярким красным лаком. Вспомнилась Крупская — кажется, Надежда Константиновна не делала маникюр?

Облик партийной дамы разительно отличался от скромного образа ленинской супруги. Широкое лицо украшала высокая корона крашенных перекисью белокурых локонов. Самыми примечательными в ее лице были брови! Широкие дуги, нарисованные черным косметическим карандашом. Когда вспоминали этот вечер, героиню величали “Брови”, поэтому ни имени, ни фамилии высокой гостьи не запомнил — “Брови” и “Брови”. Сразу становилось ясным, о ком речь. Ее мощный бюст обтягивал темный пиджак, на лацкане блестел депутатский флажок районного масштаба. Оглядев по-хозяйски стол, она, хмыкнув, распорядилась:

— Чего тянуть, Ронкин? Садимся! — повертела массивными пальцами рюмку. — Емкостей покрупнее нет?

Рюмку быстро заменили на внушительный стаканчик.

— Поехали! — скомандовала “Брови”. — Первую, как всегда, за Родину! — залпом опрокинула стаканчик. Ткнула вилкой большой кусок деликатесной рыбы. — Не бедствуешь, директор!

Хмырь, сопровождавший “Брови”, за весь вечер не произнес ни слова, аккуратно хихикал, кричал, хмыкал, поддакивая хозяйке. “Брови” обвела строгим взглядом комнату:

— Построился ты, Ронкин, неплохо. Но перерасход допустил! — погрозила хозяину крупным пальцем. Сурово спросила меня: — Какие фильмы снимал? —

Я отчитался. Снисходительно изрекла:

— Отстае. В долгу перед народом!

“Брови” опрокидывала рюмку за рюмкой. Выполняя просьбу Ронкина, я пытался веселить компанию киноанекдотами. “Брови” начала похихивать, потом строго взглянула на меня:

— Вы, товарищ, член партии?

Ответил, что пока не удостоился столь высокой чести.

— Не одобряю, — строго заметила “Брови”. — Бойцы культурного фронта должны состоять в

рядах.

После очередного стаканчика “Брови” скинула пиджак, расстегнула на блузке верхние пуговицы.

— Ронкин, музыка есть?

Яша послушно включил магнитофон. Отбросив стул, “Брови” пошла плясать. Остановилась, потребовала:

— Врубай громче!

Яша робко возразил:

— Поздно... За стеной спят... Слышимость!

“Брови” прикрикнула:

— Какая слышимость?! Секретарь отдыхает! — “Брови” распоясалась, властно стащила меня со стула, обхватив шею, поволокла за собой. — Пляши, режиссер! Что ты как неродной?!

И я стал жертвой пышущей жаром партийной хищницы. Не обращая внимания на присутствие моей жены, “Брови” неуклюже обольщала меня. В разгар пляски подскочила к зеркалу, мазнула губы яркой помадой. Любуясь собой, заломила руки, страстно простонала:

— Э-э-эх-х! Загулять бы!

Ронкин, пьяненький райкомовский хмырь и я с трудом дотащили тяжелую бабу до терпеливо ждавшей внизу черной “Волги”.

Позже спросил Ронкина: помогла ли вечеринка? Пожал плечами:

— Дружбы не получилось... Вхожу в ее кабинет — сидит, как памятник.

КАПИТАН И АКТРИСА

Эту семейную пару обитатели Репино звали Аня и Гриша. Хотя супругам — актрисе Анне Григорьевне Лисянской и капитану первого ранга в отставке Григорию Исааковичу Вольперту — на двоих уже набежало почти полтора века.

Аня, побывав на многих театральных сценах, включая подмостки величественной Александринки, завершала актерскую карьеру в Театре музыкальной комедии. Лихо играла главную роль в спектакле “Бабий бунт”, звала это представление “Бубий бант”.

Гриша в дни капитанской молодости водил в охваченную пламенем гражданской войны Испанию пароходы, груженные советским оружием. В Отечественную сошел на берег и почему-то стал руководить партизанами. Грудь каперанга украшали три ордена Красной Звезды. До старости он трудился в Морском пароходстве, где был общим любимцем.

В номере Дома творчества “Репино” — жаркий политический спор. Директор Дома Яков Ронкин, бывший чекист, защищает необходимость крутых мер во время войны. Обращается за поддержкой к Вольперту:

— Гриша, ты, как и я, воевал. Подтверди этим желторотым мою правоту!

Капитан задумчиво:

— Мы с тобой, Яшенька, сражались на разных баррикадах. На твою меня, к счастью, не забрали.

Если Гришу отметили коллекцией одинаковых орденов, то Аню власть предержавшие обошли наградами.

Сидя на балконе Дома творчества, дымя неизменной “беломорашкой” — так она звала папиросы “Беломорканал”, — она раскладывает пасьянс. Разглядывая карту, неожиданно произносит:

— Крупскую играла, Марией Ильиничной была, еще какую-то ульяновскую сеструху изображала... — Спокойно тасует колоду. — А звания, б..., не дали! — Продолжает, задумчиво рассматривая кольца папиросного дыма: — Наверное, надо было самого Лукича сыграть? Тогда, может быть, заслужила хотя бы заслуженную!

Лисянская не комплексовала из-за отсутствия почетных титулов. Скорее удивлялась:

— У всех есть, у меня нет. Почему?

Отсутствие у Ани положенных наград значительно больше ее самой поражало окружающих. Кто только не становился народным и заслуженным?! Ни ролей, ими сыгранных, ни зачастую их имен даже не знали. Лисянская снималась в заметных ролях в фильмах, ставших классикой отечественного кино. Режиссерами этих картин были корифеи советского экрана — Ромм, Донской, Савченко, Юткевич. Фильмы, где зритель узнавал обаятельную Лисянскую, — “Радуга”, “Человек-217”, “Старинный водевиль”, — знала и любила страна.

Курносая, сероглазая, с типично русским, круглым лицом, Лисянская — еврейка. Весело шутила:

— Есть заслуженные, есть народные. Я — инородная артистка!

Возможно, причиной игнорирования заслуг Лисянской был ее острый язычок. Аня была заядлой, нетрусливой рассказчицей весьма опасных баек. Это знали хозяева-отцы и, главное, матери города. Им, особенно суровым начальницам “культуры”, вольнолюбивая актриса была не по душе.

У Анны Григорьевны Лисянской не было звания, у нее было имя. Его не присваивают инстанции.

Лучшими спектаклями репертуара Лисянской были домашние представления, разыгрываемые двумя актерами — женой и мужем. Гриша обладал природным актерским даром, сокрушительным юмором. Каперанг с профилем Наполеона и детскими озорными голубыми глазками наповал разил выстрелами коротких реплик. Капитан редко надевал старый китель с тремя орденами Красной Звезды. Стоя перед зеркалом, скептически оглядев себя, хлопнул ладонью по затылку:

— Главная звезда здесь! — Приосанился. — Моя Анна на шее!

Вернувшись из магазина, Лисянская оживленно рассказывает:

— Давно не снималась, а помнят! “Анна Григорьевна, когда снова вас увидим?” Узнают!

Гриша, продолжая заниматься домашними хлопотами, холодно:

— Что ты хвастаешься? Я никогда не снимался, а тоже узнают. Вчера иду по улице, слышу: “Эй ты, жидовская морда!” Узнают!

Частенько встречали вместе Новый год. В начале декабря звонит Гриша:

— Пора обсудить, как проведем встречу.

Неосторожно шучу:

— Что-то ты поздновато спохватился! Времени для подготовки не осталось.

Первого мая звонит Гриша. Деловито, серьезно предлагает:

— По-моему, самое время подробно обсудить предстоящую встречу Нового года!

Женщины обожали Вольперта. Устоять перед Гришиным лукавым обаянием было невозможно. Иногда он делился похождениями своей молодости:

— Вечером возвращался домой. Только кончилась война, кровь бурлит! На Невском продавщица с тележкой мороженого. Девчонка — не оторвать глаз! Теряю голову. Уговариваю. Покупаю весь товар! Вместе с тележкой, полной мороженого, едем ко мне домой. Тележку оставляем в передней. Утром бедный папа шлепает по сладким лужам. Получил я по первое число! — Хитро подмигивает. — Не жалею!

Аня к Гришиным амурным похождениям относится снисходительно, даже гордится Гришиной неотразимостью. Выпуская клубы дыма “беломорашки”, оглядывая большую комнату, торжественно заявляет:

— Если сюда нагнать всех Гришкиных баб, площади не хватит!

Поздним вечером, скорее в начале ночи, звонит Анина приятельница. Дама ядовитая. Между прочим интересуется:

— Твой дома?

Аня лаконично:

— Отсутствует.

Подруга ласково:

— Где благоверный шляется?

Аня невозмутимо:

— Мой Гриша на встрече партизан с проститутками.

В период очередной борьбы с алкоголем меня выручал Гриша. Завистливо глядя на его бар, заполненный разнообразной выпивкой, я пожаловался:

— У тебя всегда аншлаг. А у меня, сколько ни куплю, — пусто!

Гриша, печально усмехнувшись, утешил:

— Когда стукнет столько, сколько мне, твой бар тоже будет полон...

Гришино пророчество, к сожалению, сбылось: теперь мой бар, увы, полон.

Проходя мимо дома, где жили капитан и актриса, с горькой нежностью вспоминаю кавалера трех орденов Красной Звезды и главной звезды его жизни — любимой Анны на шее.

НЕИСТОВЫЙ РОЛАН

Ролан Быков — москвич. Но в моей старой телефонной книжке — ленинградский адрес и телефон...

В конце пятидесятых годов по кулуарам театрального Ленинграда разнесся слух: актер Ролан Быков поставил в Московском студенческом театре по пьесе чеха Когоута “Такая любовь” — удивительный спектакль.

Заканчивая режиссерский факультет, я ходил в лидерах курса, успешно стажировался в театре “Ленсовета”, там предстояла самостоятельная постановка. Недавно стал главным режиссером Народного театра Выборгского дворца культуры Ленинграда. Интересного творческого коллектива, лауреата множества фестивалей. Как всякий начинающий, был уверен в своих силах и

предстоящих триумфах.

Московский студенческий театр привез в Ленинград свой спектакль. С некоторым недоверием к преувеличенно восхищенным оценкам отправился смотреть работу конкурентов. Театр, как и тот, которым я руководил, — тоже непрофессиональный!

То, что я увидел в тот вечер, — ошеломило.

После помпезных, похожих на архитектурную роскошь станций метро декораций охлопковского “Гамлета” аскетическая театральность “Такой любви” — поражала. По краям портала стояли невысокие ступени. И все!

Многочисленные места действия обозначались блестящими, лаконичными режиссерскими решениями. Для того чтобы на сцене возник перрон вокзала, массовка, вернее, хор спектакля раскрывал черные зонтики, освещаемый бликами света проходящих вагонов, ритмично двигаясь, исчезал за кулисами. Абсолютно достоверное ощущение отходящего поезда дополняло постукивание ног, имитирующее звук колес. Негромкое, тревожное, произносимое хором слово “Ошибка”, с акцентом на шипящем звуке — “Ош-ши-бка”. “Ош-шиб-ка!” походило на шум паровозного пара, сопровождало трагичному состоянию героини. Ее, с великолепной простотой, играла молоденькая Ия Савина. Стояла на ступеньках, в покачивающемся свете прожектора. Было полное ощущение вагонной площадки мчащегося поезда. Нарастающий, переходящий в стон речитатив хора: “Ли-да! Ли-да! Что ты делаешь?! Что ты делаешь?!” — обрывался коротким вскриком падающей под колеса героини. С нее резко убирался свет.

Позже, когда смотрел в Большом драматическом театре эту же пьесу, поставленную Рубеном Агамирзяном, где за кулисы уезжала огромная, размером с настоящий вагон фура, особенно ярко вспоминалась пронзительная лаконичность студенческого спектакля. Актерские работы не поражали. Заметно отличались от исполнителей мужских ролей две студентки-актрисы — Ия Савина и Алла Демидова. Савина, в простеньком, будничном костюмчике, неброская и негромкая, покоряла темпераментом искренности. Но главным героем спектакля был — режиссер.

Легкость владения сценическим пространством, глубокая простота, с которой он достигал мощных театральных эффектов, поражали. Приоткрывались до этого неизвестные тайны профессии. Узнав, что постановщик спектакля здесь, в театре, я, чего раньше никогда не делал, пошел за кулисы, познакомиться, выразить восхищение увиденным. Имя — Ролан, фамилия — Быков, казалось, должны принадлежать могучему персонажу эпоса... Субтильный человек с большим лбом, вокруг которого торчал венчик взъерошенных рыжих волос, совершенно не соответствовал имени и фамилии. Зато уверенности в себе у него было с избытком. Выслушав мой сумбурный, восторженный отзыв, сказал небрежно:

— Спектакль гениальный. Знаю! — Сразу перешел на “ты”. — Хорошо, что ты понял! А то есть умники — ни черта не смыслят, а зубоскалят!

Пригласил коллегу, когда снова приедет в Питер, побывать в моем театре, встретиться с ребятами. Для них это будет очень полезно.

— Вряд ли вскоре посету “приют убогого чухонца”, — поморщился Ролан.

Но он ошибся. Судьба занесла его на питерские “мшистые, топкие” берега... В тот вечер Быков с компанией театральных ребят потащил меня в ресторан. Вместе с нами сидела молчаливая Ия Савина. Удивило, что на ней был тот же скромный костюмчик, в котором она играла спектакль.

Спустя несколько месяцев Ролан был назначен главным режиссером ленинградского театра имени Ленинского комсомола, что вызвало недовольство корифеев ленинградской режиссуры.

Высокое начальство обсуждало на совещании отсутствие во многих театрах главных режиссеров. Присутствующий Товстоногов ядовито заметил:

— А что, в московском ТЮЗе больше актеров не осталось?

Карьеру художественного руководителя Ролан начал постановкой пьесы Штока “Якорная площадь”. На него, конечно, давило пристальное и не слишком доброжелательное ожидание его дебюта. На генеральной репетиции зал был переполнен возбужденной, любопытствующей театральной элитой.

Доказывая соперникам свой режиссерский талант, Ролан “ударил во все колокола”! Наверное, поэтому — проиграл. На громадной сцене постоянно вращался круг, кружились в белых платьях непонятно откуда и зачем появляющиеся молоденькие актрисы. Гремела музыка, сверкали прожектора. Пользуясь ироничным термином самого Ролана — “царил псевдеж!”. Зал злорадно радовался. У меня было горькое ощущение собственного провала.

Несмотря на очевидное поражение, Ролан обосновывался в Ленинграде всерьез и надолго. Получил квартиру, перевез из Москвы мать и жену — знаменитую тюзовскую “травести”, миниатюрную Лилю Князеву. Я бывал в их неустроенном жилище, похожем на общежитие. Молчаливая Князева, неодобрительно поглядывая на мужа, доставала из холодильника бутылку водки. Ролан почтительно общался с маленькой властной супругой. Дома был непривычно тих и покорен...

Я поставил в Театре Ленсовета спектакль по пьесе Леонида Зорина “Добряки”. Успеха, равного московской постановке Львова-Анохина, не было. Но зритель ходил, смеялся, аплодировал. Появились весьма доброжелательные рецензии.

Поставленный в Народном театре спектакль “Два цвета” по пьесе драматургов Зака и Кузнецова гораздо больше соответствовал моим сценическим поискам. Авторы, посмотрев спектакль, сказали: их сочинение идет в ста театрах страны, а любят они свои “Два цвета” лишь в “Современнике”.

Ролан приехал посмотреть спектакль. Встретился с ребятами. Справедливо, точно пожурил их за актерские огрехи. О качестве спектакля ничего не сказал. Позже, за ресторанным столиком, пытаюсь вызвать Ролана на откровенность, я сообщил:

— Критик Женя Калмановский считает, что у нас с тобой режиссерский почерк похож.

Ролан прищурился:

— А твой критик не сказал, кто кому подражает?

Быков любил и умел наносить неожиданные удары...

Я дружил с молодым талантливым драматургом Олегом Стукаловым, сыном Погодина, автора “Кремлевских курантов” и других шедевров советской сцены. Олег заканчивал писать интересную пьесу “Не скрыть лица” — о жалкой судьбе военного предателя. Мне нравились прочитанные сцены, язык, характеры персонажей. Существовала предварительная договоренность с Театром Ленсовета о постановке. Автор дал слово, что никому, кроме меня, в Ленинграде не отдаст свое произведение. Позвонил Ролан:

— Друже! — иногда он называл меня так. — Немедленно приезжай в театр!

Вошел в кабинет главного режиссера. За большим столом, заваленным бумагами, сидел Ролан. Открыв ящик письменного стола, демонстративно положил передо мной папку с надписью: “Не скрыть лица”. Наблюдая за моей реакцией, медленно произнес:

— Пьеска передана автором моему театру. Подписан договор о постановке.

Сдерживаясь, спросил его:

— Ты для чего меня позвал? Чтобы увидеть лицо побежденного?

Ролан громко, заразительно расхохотался, протянул бумагу:

— Читай!

Олег Стукаловым было написано, что он передает свою пьесу Ленинградскому театру имени Ленинского комсомола с непременным условием — осуществлять постановку будет режиссер Леонид Менакер.

Ролан, покачиваясь в кресле, наслаждался эффектом:

— Ну что? Поработаем?! Хватит тебе в этом затхлом Ленсовете возиться!

Перспектива сотрудничества с Роланом привлекала. Вечером позвонил Стукалов:

— Прости! Ты напор Ролика знаешь! Уговаривал, соблазнял. Пугал: в Ленсовете Леньку задушат! У меня — он развернется! Уходя, заявил: “Буду сидеть под твоими дверями всю ночь. Думай!” Представляешь, утречком спускаюсь за сигаретами: этот псих дремлет на лестничном подоконнике! Я сдался!

В день, когда я узнал о своем неожиданном переходе к Ролану, мы еще долго сидели с ним в его кабинете. Он искренне делился подробностями своей жизни в театре, жаловался:

— Артисты — сволочи! Когда пришел — дружно задницу лизали! После завала “Якорной” продают оптом и в розницу!

Утешая Ролана — соратники всегда предают великих людей, — вспомнил, как, в детстве прочтя лермонтовские строки о Наполеоне и его маршалах: “...Другие ему изменили и продали шпагу свою...” — представил: негодяи торгуют на рынке своим оружием.

Быкова развеселил мой рассказ, забыв о коварных коллегах, он, импровизируя, показал бравых полководцев, “толкающих” на одесском базаре ржавые шпаги. Мешая псевдофранцузские словечки с одесским жаргоном, фехтовал шваброй, демонстрируя качество продаваемого товара. Все делал органично, легко, смешно. Блестящий урок актерского мастерства!

Входя в жизнь театра, смотрю спектакли, стараюсь быть незаметным, посещаю репетиции, подолгу беседуя с Роланом. Он, плотно прикрыв двери кабинета, рассказывает: “Вчера заявился парторг:

— Ролан Антонович, пора серьезно поговорить. Вам надо в партию! Наверху категорически требуют. Рекомендацию сам напишу. Примем без кандидатского срока. Сразу — в дамки! Вместе с парторганизацией нам необходимо навести порядок в театре.

И пошел стучать. Эта спит с этим! Этот живет и с той и с этой! В гримерных — пьянствуют! Сплошной бардак! От шефских концертов отказываются, на лекции по международному положению не ходят!”

Показывает знакомого мне визитера так смешно и похоже, что я, не выдержав, хохочу:

— С ним все ясно. А что ты ответил?

Я ему так ласково, нежно:

— Как вы считаете — пиз...дуй болотный птичка или рыбка?!

Катаюсь от хохота:

— И что он?

— Вылупил глаза и, как ошпаренный, в дверь!

И все же “гадюшник” с помощью городского начальства душил Ролана. Он принял отчаянное

решение. Вместо ожидаемой от него постановки какой-нибудь “сомнительной” диссидентской пьесы к очередной юбилейной дате начал репетировать драму о Ленине — “Третью патетическую” Погодина. Моя постановка пьесы Олега Стукалова “Не скрыть лица” была отложена. В конкурентном соревновании драматургов — отца и сына — победил знаменитый папаша.

Никогда не видел Ролана таким, как в дни работы над “Ленинианой”. Он в ярости, бешенстве крыл последними словами артиста, репетирующего роль вождя. Орал:

— Я сам сыграю картавого! Смотри!

Мгновенно перевоплощаясь, вскидывает руку, грассируя произносит бессмысленный набор слов. Но похож! Чертовски похож! Стремительный этюд-шарж неизмеримо интереснее и правдоподобнее скучной монументальности исполнителя роли Ленина. Ролан понимает: надвигается катастрофа. Ничего не получается — спектакль валится. На сцене — фальшь и притворный темперамент. Мечется по кабинету, швыряет на пол погодинскую пьесу:

— Старый маразматик! Надо же такую х...ю сочинить!

Бросается к настольной лампе, скидывает абажур, хватается зубами электролампочку! Замираю — сейчас раскусит! Плюхается в кресло:

— Иногда кажется — скоро начну стекло грызть!

Смотрю на него — мог бы гениально сыграть Наполеона, загнанного перед отречением в пустынные залы дворца Фонтенбло!

“Третья патетическая” с треском провалилась. Ролан не умел ставить “заказуху”. Не помню — сам он ушел из театра или его уволили. Под обломками его режиссерского трона оказались и мои надежды на совместную работу. Вообще, судьба упорно разводила наши дороги. Мне так и не удалось снять Ролана. Был написан сценарий “Странный чиновник тайной полиции”. Герой — незаметный человек с фамилией Клеточкин — по заданию революционеров служит филером в полиции, мечтая о романтических подвигах. Трагико-комический персонаж. Встретив в ленфильмовских коридорах Ролана, сказал:

— Есть интересный сценарий. Хочу пригласить тебя на главную роль.

Уже знаменитый Ролан процедил сквозь зубы:

— Дел под завязку! Не до тебя.

Стерпев, я все же прислал ему сценарий. Прочтя, он смилостивился:

— Интересная штука! Можно попробовать. Звякни, когда запустят.

Сценарий задушили в Госкино — я не “звякнул”.

Глядя на актерские шедевры Быкова, до сих пор жалею, что судьба не свела нас на съемочной площадке. Артист он был волшебный!

Наверное, Быков был единственным, кто мог бы воплотить на экране образ Пушкина. Почти любую роль мирового классического репертуара великолепно бы сыграл Ролан. Гамлет? Да! Макбет? Каким бы трагичным был в его исполнении невольный узурпатор! Шекспировский горбун король Ричард? Роль просто написана для Ролана. Представьте Быкова — Хлестаковым? Даже своеобразным Чацким? Карандышевым? Аркашкой в “Лесе” Островского? Перечислять не сыгранные Роланом роли можно бесконечно.

Его режиссерские работы в кино мне кажутся значительно слабее актерских высот. Исключение составляет, пожалуй, “Чучело”. В этом фильме режиссер Ролан Быков не проигрывает соревнования с актером Роланом Быковым.

Встреча с неистовым Роланом — одно из самых ярких воспоминаний режиссерской молодости.

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

В затрепанной телефонной книжечке — Смоктуновский И. М., адрес и телефон.

Видел Смоктуновского на сцене и экране. Отчетливо ощущал магическую тайну гениальности, излучаемую артистом. Но непосредственное общение — неповторимо.

Однажды сказал ему:

— Кеша, ты живой гений...

Пошевелив длинными пальцами, он усмехнулся:

— Еле живой...

Сценарий “Последняя дорога” о гибели Пушкина послал Смоктуновскому, предложив роль нидерландского посла барона Геккерна.

Прочитав, Иннокентий Михайлович позвонил:

— Сценарий показался. Стучишься в нужную дверь — давно тревожит драма Черной речки... Люблю Пушкина, ненавижу Геккерна. Мечтал сыграть Пушкина. Стар. Готов разгадать эту сволочь — Геккерна. Но... — Последовала пауза. — Ассистентка сообщила: всего десять съемочных дней. — Снова пауза. — Больше проезжу, чем заработаю. Не могу сниматься бесплатно. Придумай что-нибудь. Жду!

Совершенно не хочу упрекать Смоктуновского в стяжательстве.

Тогда оплата артистов, даже народных, всего Советского Союза четко регулировалась плановым хозяйством страны. Абсурд! Работа актера оплачивалась по длительности пребывания на экране его персонажа, соответственно — по количеству съемочных дней.

Есть артисты, чье ослепительное, пусть краткое появление в фильме — бесценно. Гениальный Смоктуновский, безусловно, был таким.

Чтобы выполнить совершенно справедливое желание Иннокентия Михайловича о повышении гонорара, пришлось пойти на хитрость — увеличить его съемочные дни.

Смоктуновский был утвержден на роль, разумеется, без кинопроб. Но сам попросил сделать экранный эскиз грима и костюма, для чего и приехал до начала съемок. Вхожу в примерную. Смоктуновский сидит, вглядываясь в зеркало. Перед ним фотографии портретов Геккерна. Артист поочередно пристально рассматривает репродукции и собственное лицо. Кончиками длинных пальцев дотрагивается до щек, губ, лба, словно изучая неизвестный облик. Примеры знают: если начинается поиск грима, Смоктуновский в кресле надолго. И это у них не вызывает раздражения. С другими артистами бывают конфликты — мол, нечего капризничать, и парик хорош, и усы что надо! Сейчас ищут бакенбарды. Ассортимент богатый, заранее приготовленный, тщательно расчесанный. Мне кажется, все неплохо, есть сходство с портретами барона. Кеша поворачивает перед зеркалом голову, меняет наклон освещения лампы, проводит пальцем по бакенбардам, доверительно говорит примеру:

— Здесь приклеено, а не проросло. Понимаешь?

Пример внимательно рассматривает щеку артиста:

— Ваша правда. Попробуем оживить.

Смоктуновский не терпел приблизительности, работал над образом. Во всем, от набалдашника

тлости, орденской ленты, до кажущейся незначительной детали поведения, тональности реплики. Однажды на мой каверзный вопрос: “Кеша, что такое, по-твоему, хороший артист? — Смоктуновский, недолго подумав, ответил: — Тот, кто в наименьшее время дает наибольшую информацию”.

Афористичность удивила. Поразительные мудрость и пронизательность Смоктуновского тесно сосуществовали в нем с детской наивностью, с прямолинейностью оценок и суждений. Возможно, такая противоречивость характера присуща великим артистам.

С талантливыми, очень хорошими актерами мне приходилось работать. Но с гениальным артистом — встретился впервые. Общение с личностью такого масштаба было не простым.

Смоктуновский много знал о пушкинской дуэли, о ее свидетелях, участниках и виновниках. Фигура нидерландского посла барона Геккерна тоже была достаточно известна артисту. У меня не было необходимости рассказывать ему биографию дипломата. Смоктуновский спросил:

— Кого играть будем? Только не глуши историческими фактами. Это мне не поможет. Кто этот заморский барон? В чем секрет старого сводника?

Попробуй, под испытывающим взглядом такого артиста, точно и образно ответить на подобные вопросы...

Слышал о непростых отношениях Козинцева и Смоктуновского на съемках “Гамлета”. Осторожно поинтересовался: в чем была причина разногласий с крупным мастером? Кеша хмыкнул:

— Блестящие лекции об эпохе Возрождения созданию роли не помогают.

Знал теперь: мой ответ должен дразнить, возбуждать артиста. Нужно растревожить его фантазию, увлечь. Сказал ему, что могу лишь поделиться своим ощущением личности посла, сыгравшего зловещую роль в гибели поэта. Ощущение это возникло из документов, писем, мемуаров... Геккерн представляется мне эдаким персонажем мистика Гофмана, изощренным кукловодом, страшеньким доктором Дапертуто, сладострастно дергающим за ниточки своих жертв. Он получает наслаждение, наблюдая ожидаемые муки действующих лиц своих жутких сочинений. Жестокий фокусник.

— Фокусник?.. — задумчиво повторяет Смоктуновский. — Покопаемся...

Чувствуя пробуждающийся интерес собеседника, добавляю:

— Он — блестящий мастер интриги. Плетет паутину изощренно, вдохновенно. Восхищается своим мастерством.

— Забавно... — бормочет Смоктуновский. — Кое-что — в супчик...

— Куда? — не понимаю я.

— Своя, рабочая терминология... — посмеивается Кеша. — Не обращай внимания. Валяй дальше.

Ободренный контактом, продолжаю:

— Он считает себя существом высшей породы. Русские, даже их император, — для него как туземцы для капитана Кука. Дикари. Курчавый Пушкин в камер-юнкерском мундирчике, болтающий по-французски, — дрессированный негр. Не более того. Пухлый Жуковский с его турецкими корнями — хитрый, изворотливый восточный визирь. Но он — Геккерн де Беверваард, потомок рыцарей — умнее, пронизательнее, сильнее всей этой дикой швали.

— Годится, годится... — думая о чем-то своем, напевает артист.

Кажется, наступает драгоценное мгновение близости актера и режиссера. Наклоняюсь, доверительно:

— Знаешь, он все время мерзнет... Промозгло барону в холодном Петербурге...

— Можно... Можно... — зябко ежится Смоктуновский. — Будем копать.

В фильме продрогший Геккерн—Смоктуновский постоянно кутается в громадную шубу. мех выбрал артист. По его же просьбе под щегольским цилиндром — теплые стариковские наушники. Домашний халат оторочен мехом. Подлинность физического состояния для Смоктуновского — важнейший компонент создания образа. Физиологическая правда, видимо, будит в нем таинственные глубины подсознания.

На съемочной площадке обнаружилась еще одна особенность Смоктуновского. Оказалось, артисту ни в коем случае нельзя предлагать заранее решенные мизансцены, актерские приспособления, игровые детали, предметы реквизита. Смоктуновский иногда даже агрессивно отвергал готовые режиссерские предложения. Гениальная интуитивная природа Смоктуновского отторгала все сочиненное, приготовленное заранее, сконструированное. Так же как бакенбарды на его щеках должны естественно расти, а не быть наклеенными, любая секунда экранного существования должна быть органичной, рожденной им, здесь, сейчас, мгновенно. Разгадав природу наших споров и даже ссор, добиваясь того, что казалось мне нужным для роли и фильма, — я стал хитрить! Перед съемкой расставлял тщательно продуманные психологические “капканы”. Попадая в них, артист приходил к блистательному по выразительности поведению.

В беседах с Иннокентием Михайловичем о привычках, чертах характера, биографии нидерландского посла у нас не вызвала сомнений гомосексуальная связь стареющего извращенного аристократа и юного красавца Дантеса. Геккерн провел молодость на кораблях голландского флота. “Бугрство” — как тогда именовалась педерастия — было весьма распространено среди моряков. Мы приняли категорическое решение — не акцентировать патологию отношений барона и кавалергарда. То, что между ними существует некая скрытая порочная связь, должно случайно, намеком, лишь проскакивать. Зрители, знающие о противоестественных отношениях Геккерна и Дантеса, сразу поймут, что к чему, а те, кто об этом ничего не слышал, все же должны почувствовать некую странность союза приемного сына и пожилого усыновителя. Нужны выразительные подробности порочных наклонностей барона. Они должны быть неназойливы, но понятны. Зная пристрастия артиста, понимаю: конкретных, придуманных мною деталей предлагать нельзя. Это вызовет отрицание, сопротивление, долгие теоретические споры.

Снимается сцена преддвуэльной ночи Дантеса и Геккерна в кабинете барона. Желая предотвратить предшествующий поединок, Геккерн устроил женитьбу приемного сына на некрасивой сестре жены Пушкина. В доме появилась женщина, не нужная ни сыну, ни папаше. Она раздражает обоих, нарушает привычный уклад жизни.

В дубовом кабинете петербургского особняка пиротехники разжигают камин, электрики расставляют штативы осветительных приборов. Хожу, намечаю основные мизансцены, съемочные точки, думаю о главном. Нужно найти образное, точное начало сцены. Нервной, раздражительной, полной взаимных упреков, своеобразной домашней дуэли сообщников — кавалергарда и посла. Съемочная группа уловила мои хитрости и способы работы в эпизодах Смоктуновского. Операторы пока не устанавливают свет, ждут, как будут развиваться события. Реквизиторы тоже наготове, терпеливо посматривают на меня. Прошу принести бальный веер. Спрашиваю женский персонал:

— Есть ли флакончик крепких духов?

К счастью, такой обнаруживается. Не жалея пахучей жидкости, опрыскиваю веер. Небрежно бросаю его на нужное кресло. Входит в гриме и костюме Иннокентий Михайлович. Зябко ежится, плотнее запахивая халат. Он теперь всегда мерзнет... Греет у горящего камина руки, оглядывает кабинет. Вижу: мой веер приметил! Капкан начинает работать. Нарочито предлагаю вялое начало

сцены:

— Геккерн устал, всю ночь не спит. Присядь на диван, откинься. Дантес пошевелит щипцами каминные угли, дальше начнем раскручивать сцену.

Смоктуновский ходит, пряча лицо в меховой воротник халата. Наконец останавливается около западни — кресла с веером. Двумя пальцами, в пластике женоненавистника, брезгливо приподымает веер. Слегка принохивается. С отвращением отбрасывает веер. Зло садится в кресло, где лежал бальный женский аксессуар. Подмигивает:

— Пожалуй, так-то будет лучше? А?! Такое начало сцены сразу зарядит на верный тон. Проиграл. Впустил в дом омерзительное существо. Женщину! И все равно проклятый негр прижал к стене! Теперь от дуэли не уйти!

Радуюсь: капкан захлопнулся! Интуиция, фантазия артиста мгновенно сработали! Притаившиеся по углам люди из съемочной группы заговорщически переглядываются, ощущая себя соучастниками охоты с удачно сработавшей приманкой. Продолжаю хитрить, раззадоривая артиста:

— Кеша, может, штука с веером слишком лобовая?

Смоктуновский уже проживает будущую сцену. Подсознание возбуждено, предвосхищает оттенки, штрихи, подробности существования:

— Смотри! Сейчас слегка намечу, обозначу, как это сделаю в кадре! Все будет не жестко, без акцента, намеком. Но что барон-педрила и баб ненавидит — проскользнет!

Показывает. У меня аж зубы сводит — жаль, что камера не включена! Блестяще действует: едва касаясь, брезгливо, двумя пальцами, поднимает веер, будто это некая интимная часть женского туалета, презрительно отшвыривает его в сторону. Шевелит пальцами, едва заметно дернув ноздрями и уголками губ. Вынимает из кармана халата кружевной платок, тщательно, как врач, вытирает руку, бросает платок в камин. Предусмотрительно обращается к костюмершам:

— Девочки, на всякий случай приготовьте пару платочков про запас!

Представляю сопротивление Смоктуновского, если бы “веер” был предложен артисту, как говорится, “в лоб!”.

Наверняка пришлось бы услышать о примитивности режиссерского мышления, отсутствии вкуса и другие нелестные оценки. Но, идя своим путем, доверяя только своему чутью, блестящей актерской интуиции, — прав был великий артист.

Насколько тщательно Смоктуновский выстраивает роль, как внимательно вчитывается в сценарий, испещренный пометками, вопросительными и восклицательными знаками, понял, услышав от него:

— Сняли двадцать пятый кадр. Почему не снимаем двадцать пять “А”? Там весьма славные детали.

Выразительно прочел:

— “Рука в перчатке протерла замерзшее окно кареты. Геккерн хмуро глянул на заснеженную петербургскую улицу. Лошади остановились. Лакей откинул подножку кареты. Появилась нога в щегольском башмаке. Запахнув шубу, вышел посол”. — Отложил сценарий: — Не сняли и другие кадры, помеченные буквами. Почему?

Пришлось открывать финансовую тайну неснятых кадров. Совершенно не оценив ловкую коммерческую интригу, забыв ее причину, Смоктуновский вздохнул:

— Жаль. Роль делается из мелких подробностей.

Мгновенно подняв воротник пиджака, будто мех шубы, зябко поежился:

— Ненавижу эту холодную, дикую страну. — Помолчал. — Зачем слова? Это можно продышать...

И мы сняли фиктивный кадр “№ 25А”.

Пряча лицо в меховой воротник шубы, Смоктуновский—Геккерн, бережно прикрывая перчаткой рот, осторожно, неглубоко вдыхает обжигающий морозный воздух ненавистной России. Морщится, покашливая, еще глубже прячет лицо в заиндевевший мех. Такое мгновение говорит о пребывании в России нидерландского посла барона Геккерна Ван Беерваарда больше, чем страницы воспоминаний и мемуаров.

ЗА БУГРОМ

Поездки “за бугор” — особая, причудливая часть жизни простого советского человека. Это само по себе чрезвычайное событие начиналось со сложного предотъездного этапа с характеристиками, анкетами, комиссиями. Пребывание там тоже было весьма не простым для “совка” — советского человека. Строжайшая экономия скудных валютных суточных, питание с помощью кипятильника, пакетов сухого супа, банок консервов — обязательное условие заграничного вояжа. Инструктаж в местном советском посольстве о правилах поведения. Перечислялись запрещенные для посещения значные места — игорные заведения, стрип-шоу, сеансы порнофильмов. О таком преступлении, как поход в публичный дом, даже не говорилось! Строго запрещались одиночные прогулки: ходить по вражеским площадям и улицам можно лишь с заранее утвержденной группой — “тройкой”.

О курьезах повседневной иностранной жизни советского туриста или командировочного можно рассказать сотни анекдотов. Обычно в гостиницах при вселении компании “совков”, одновременно включающих свои кипятильники, вылетали пробки. Администрация отелей первое время не понимала причин катастрофы. Потом, приобретя опыт, заранее просила постояльцев включать свои агрегаты по очереди. Бывало, что радость от удивительно дешевой покупки одежды и обуви сменялась горьким разочарованием. Пиджак расползался на плечах счастливого, ботинки на ногах разваливались буквально через день. Выяснялось, что красивый, очень дешевый товар приобретен в магазинах ритуальных услуг, предназначался для одевания покойников... Соотечественники дурели от роскоши витрин, комфорта гостиниц, обилия товаров. Рассказывали, что дама, занимающая весьма высокий пост в комсомольской иерархии, впервые попав за границу, ошарашена от магазинных прилавков, сошла с ума. Знакомый журналист из Западной Германии как-то сказал:

— Хорошо тем из ваших, кто никогда не был за рубежом. Стоя в очередях за колбасой, они живут, не понимая, как их обокрали.

ДВА МИРА — ДВА ДЕТСТВА...

— Впервые приехал в Париж... — рассказывал известный артист. — Гордо хожу по бульварам, улицам, площадям. С удовольствием оглядываю себя в зеркальных витринах — хорош! На башке — модная замшевая кепочка фирмы “Самшит” — жена из своей старой курточки сшила! Классный чешский пиджачок, туфли из комиссионки. В кармане — целых триста франков! Иду, насвистываю, каблуками постукиваю — чем не Ален Делон?! Остановился около широкой витрины автомобильного салона. За стеклом блещут “рено”, “пежо”, “ситроены”. Голова кружится от ассортимента. У нас тогда “жигуленка” без блата не купишь. Сердце автомобилиста поддавалось соблазну. Зашел, небрежно разглядываю модели, вроде выбираю. Около магазина останавливается роскошный кабриолет с открытым верхом. За рулем — молодая блондинка в больших темных очках. Рядом толстячок в шляпе. Блондинка выходит из машины — ноги длиной с Эйфелеву башню. Толстячок с тростью семенит рядом. Заходят в салон. Девица, обдав запахом парижских парфюмов, процокала каблучками мимо меня. Пара остановилась около вращающейся посередине зала суперновинки. Толстячок деловито постучал тростью по колесам, его спутница элегантно села

в кресло водителя, крутанула руль. На плакате с ценой машины красовались бесчисленные ноли... Сгибаясь в поклонах, подбежали продавцы в униформе. Толстяк вынул чековую книжку, вырвав листок, двумя пальцами протянул чек продавцу. Блондинка, кивнув на улицу, где стоял ее лимузин, кинула ключи одному из продавцов. Я стоял как вкопанный, наблюдая за процессом покупки сказочной машины. Через мгновение из ворот салона выехал только что приобретенный автомобиль ценой в несколько сот тысяч долларов. Рулила блондинка. Толстяк, сидя рядом, попыхивал сигарой. Я взглянул в зеркало на стене салона. Увидел старого мудака в идиотской кепчонке, плохо сшитом клетчатом пиджачишке, в кармане которого лежали триста франков...

Это был я, народный артист Советского Союза, лауреат Государственных премий СССР.

“ПАРАПОНЦИ-ПОНЦИ-ПО!”

“А чтоб мы не тосковали, будет Клаша Кардинале...” — строчка из шуточной песенки, написанной Юрой Визбором на съемках фильма “Красная палатка”, в котором действительно снялась итальянская красавица.

Предваряя исполнение этой песенки, Визбор, перебирая гитарные струны, делал ироничный перевод иностранных словечек. Что же касается лихого припева “Парапонци-понци-по!” — сообщал:

— Эти слова не обозначают ровным счетом ничего, но очень нравятся автору.

Визбор, как всегда, своеобразно сыграл небольшую роль в моем фильме “Ночная смена”. Однажды съемка была сорвана проливным дождем, мы просидели до утра в тонвагене, Юра всю ночь пел. Техника была под рукой — звуковики записывали. Тогда, пожалуй, впервые, услышал “настоящего” Визбора. Был очарован его юмором, артистичностью... Непереводимое, озорное “Парапонци”, услышанное дождливой ночью в тонвагене, осталось в памяти навсегда.

Особенно вспомнилось это “Парапонци, понци-по!” на международном Монреальском кинофестивале, где участвовал мой только что законченный фильм “Собачий пир”.

Знал, что в одной из конкурсных картин снялась сеньора Клаудия Кардинале, что знаменитая кинозвезда приехала в Монреаль. Пойди посоревнуйся с такой соперницей!

Конкуренция была серьезная — я не очень рассчитывал на фестивальную успех нашей скромной ленты, рассказывающей о спившейся уборщице вокзального туалета. Роль Жанны, так звали героиню фильма, неожиданно остро, бесстрашно играла Наташа Гундарева, которая не смогла приехать в Канаду.

Закончился фестиваль показ картины. В громадном переполненном зале, по статусу фестиваля, создатели фильма сидели в ложе, куда после просмотра направлялся мощный луч прожектора. Поскольку “создателей” представлял только я, то после титра “Конец” в гробовой тишине понуро поднялся навстречу провалу... Действительно, какое дело фешенебельной фестиваль публике до убогих российских алкашей!

Но после мгновенной тишины зал взорвался аплодисментами.

На другой день в пресс-центре вручили множество газет с портретами Гундаревой. В переводах статей мелькали строки: “Великая русская актриса”, “Пронзительный фильм”, “„Собачий пир“ — лидер фестиваля”.

Наступил заключительный вечер. Приз за лучшую женскую роль жюри присудило Гундаревой. Тяжелую бронзовую статуэтку вручили мне. После состоялся банкет с лакеями, свечами, оркестром. Подошел председатель жюри, итальянский режиссер, сказал, что теперь, после оглашения официального вердикта, снова обретя свободу слова, может высказать свое мнение. Он считает “Собачий пир” лучшим фильмом фестиваля, но в прошлом году главный приз получил советский фильм режиссера Бодрова, поэтому пришлось... Он уверен: приз за женскую роль,

которой выражена главная мысль произведения, — награда всему фильму.

Банкет шумел, скользили между столиками лакеи, гости кружились в свете ресторанных прожекторов. И вдруг почудилось лихое Визборовское “Парапонци-понци-по!” — в ярком луче танцевала ослепительная Клаша Кардинале! “Сейчас или никогда! Где наша не пропадала?!” — пронеслось в разгоряченной голове. Схватив нашу переводчицу, попросил подойти к звезде. Представился сеньоре Кардинале, бесшабашно поведав, что с юности мечтал обнять ее в танце... Сегодня мечта может стать явью — если сеньора Клаудия соизволит принять приглашение. Великолепная “Клаша”, положив руку на мое плечо, сказала:

— Это говорит мужчина, из-за которого мой приз отдали другой актрисе?! — Лукаво улыбнулась.
— И потом, где вы были раньше? Через час я улетаю!

Мы танцевали втроем — звезда, переводчица и я.

У сбывшейся мечты — один недостаток: став действительностью, она исчезает.

КУЗИНЫ

Прибалтийские республики Советского Союза были весьма бледной копией Запада. Но все же башни старинных замков Риги, Вильнюса, Таллина, кованые фонари на домах, чистота улиц, вежливые пешеходы, уютные кафе, где подавали хороший кофе и взбитые сливки, создавали иллюзию “заграницы”. Почти как в Париже — “только труба пониже и дым пожиже”!

У всех республик был в статусе министерства свой Комитет по кинематографии. Хотя маленькая Эстония не являлась лидером мирового и даже отечественного экрана, в ее правительстве существовал кинодепартамент. Комитет возглавлял председатель в ранге министра. Как положено, у него были заместители. С одним из них я дружил. Коренастый, широкоплечий Ян больше походил на рыбака, чем на кинобосса, был веселым, добродушным парнем. Приезжая в Таллин, я предварительно созванивался с эстонским приятелем. Гостеприимный Ян заказывал номер в престижной гостинице “Виру”, встречал на служебной машине.

Эстония не увозила с международных фестивалей пальмовых ветвей, золотых львов и серебряных медведей, но Госкино республики владело особняком, солидным штатом чиновников, собственным автопарком.

В мой очередной приезд сидел с Яном в ресторане, внизу ждала комитетская черная “Волга” со специальными номерами. Закончив ужин, Ян взглянул на часы, благодушно предложил: “Поедем на Пириту, к тете Эльзе. Познакомлю с кузинами. Очень славные девушки”.

Слышал — недалеко от Таллина, на берегу речки Пирита, расположены дачи состоятельных эстонцев. Никогда там не был, охотно согласился. Подъехали к увитому плющом каменному забору. Вечерело. Ян нажал кнопку звонка на узорчатой кованой калитке. Появилась горничная в крахмальной наколке и кружевном переднике. Приветливо поздоровалась, провела в просторный холл двухэтажной виллы. По лестнице спустилась уважаемая седая дама. Чмокнула в щеку Яна. Он представил меня, отрекомендовав хозяйку:

— Моя любимая тетенька.

Протянув пухлую, в кольцах руку, она сказала по-русски с мягким акцентом:

— Эльза Карловна. Друг Яна — мой друг. Чувствуйте себя — дома.

Сказав что-то по-эстонски, Ян со смешком ушипнул родственницу за крутой бок. Она игриво вздохнула светлую шевелюру Яна:

— Племянничек мой большой шалун...

Застучали каблучки, на лестнице появились три девушки. Одна лучше другой. Стройные,

ухоженные, красиво, неброско одетые. Щебеча по-эстонски, нежно расцеловались с Яном. Обняв девушек за талии, Ян подвел красавиц:

— Мои кузины. Мой питерский друг.

Делая книксен, девушки протягивали прохладные ладони.

— Валда, Бригитта, Ариэтта, — называл имена сестричек Ян.

Горничная вкатил стол с разнообразными напитками, ломтиками лимона и печеньем.

Одна из кузин поставила пластинку в заграничный музыкальный комбайн. Полилась томная джазовая мелодия. Эльза Карловна, покачиваясь в кресле-качалке, завела неторопливую беседу об американских фильмах. Кузины Яна, проявив основательное знакомство с голливудской продукцией, неназойливо приняли участие в разговоре. Звучали имена Роберта Де Ниро, Аль-Пачино, Дастина Хофмана. Не были забыты и режиссеры. Своеобразно, толково говорили о фильмах Копполы, Серджио Леоне, Хичкока. Даже вспомнили Кьюкора и Джона Форда. Интеллектуальная беседа незаметно перетекла в танцы. Ян ритмично двигался с не совсем по-сестрински приникшей к нему Ариэттой.

Тряхнув гривой светлых волос, ко мне подошла Бригитта:

— Вы танцуете?

Танцевать с чуткой партнершей было замечательно. Лукаво, едва заметно улыбаясь, она с милым акцентом забавно шутила. Эльза Карловна затягивалась длинной сигаретой, благосклонно, по-матерински поглядывая на танцующих. Раздался звонок калитки, и горничная ввела высокого широкоплечего гостя.

— Раймо! — представился вновь прибывший.

Они громко заговорили с оживившейся Валдой по-эстонски.

Мы с Яном вышли на воздух. Закурили. Легкий ветер шевелил листву деревьев. Одурающе пахла цветущая сирень. Начал дипломатично расспрашивать Яна о степени его родства с девушками:

— Что значит — кузины? Они твои двоюродные сестры?

— Трюродные... — Выпустил колечки дыма Ян.

— И твоя Ариэтта тоже сестра? — допытывался я. — Мне показалось, у вас не совсем родственные отношения...

Ян, поразив знанием истории литературы, рассмеялся:

— Байрон имел любовь с родной сестрой. Бывает!

— А Бригитта кем тебе приходится? — осторожно осведомился я.

— Очень дальняя родственница, — понимающе подмигнул приятель. — Понравилась? Ты ей, кажется, тоже. Не робей! — Хлопнул тяжелой ладонью по спине. — Жениться не заставим!

Простодушное легкомыслие Яна озадачило... Непринужденное, естественное поведение девушек совсем не означало их доступность. В саду трещали цикады. Пожилой садовник с трубкой в зубах старательно поливал из шланга цветочные клумбы. Добропорядочный, слегка чопорный дом Эльзы Карловны, с горничными и садовниками, требовал благовоспитанного поведения. Вряд ли стоило следовать советам Яна...

Снова танцевали с Бригиттой. Сообщила, что учится в Тартуском университете. Рассказывая о студенческой жизни, артистично, с юмором показывала профессоров и соучеников.

Разгоряченные, мы спустились в сад, окутанный синими сумерками. Пошли к реке. Бригитта предложила выкупаться. С беззастенчивой женской отвагой разделась. Голая, стремительно бросилась в воду. Призывно махнув рукой, позвала меня. Скинув одежду, нырнул вслед за девушкой.

В ту пору мы зачитывались романами Хемингуэя и Ремарка. Завораживали терпкие мгновения любовных приключений героев. Восхищали женщины “Трех товарищей” и “Фиесты” — обаятельная Пат и непредсказуемая леди Брет. Хотелось походить на загадочных персонажей Ремарка и Хемингуэя, мечтали встретить девушек, похожих на этих книжных героинь. Ночь в предместье Таллина, непривычная манера поведения светловолосой Бригитты, даже ее имя — опьяняли...

Казалось, происходит чудо взаимной, ослепительной влюбленности. Вернулись в дом. Холл опустел. Все исчезли. Тихо покачивалась пустая качалка. Пахло духами, ароматным дымом сигарет. Мигал зеленый глазок радиолы.

С пластинки томительно выл саксофон. Мы медленно танцевали. Горничная, не глядя на нас, бесшумно прибирала бутылки и рюмки. Неслышно увезла столик с посудой. Бригитта, выскользнув из моих объятий, продолжая двигаться в ритме музыки, взяв меня за руку, властно повела наверх по деревянной лестнице.

Утром, обнаженная, стоя перед зеркалом, разглядывая свое загорелое тело, повернулась:

— Эльзе ваш визит оплатили. Но ты дашь деньги лично мне?! Я очень старалась, — деловито, будто оценивая проделанную трудную работу, сказала девушка. — Может быть, имеешь валюту?

Если бы рухнули деревянные балки потолка, удар был бы меньшей силы... Поспешно натянув брюки, нашарил в карманах мятые купюры, испытывая отвращение к себе и женщине, положил перед ней деньги. Светловолосая Бригитта спокойно набросила халатик, зевнув, небрежно пересчитала бумажки, сунула их в карман. Замурлыкав мотив вчерашней джазовой песенки, прощально махнув рукой, вышла.

Первый и последний раз в жизни оплатил деньгами ночь с женщиной.

Возвращались в Таллин с бодрым, довольным Яном. Поделился с добродушным заместителем министра эстонской кинематографии изумлением от финала своего любовного приключения. Ян дружески рассмеялся:

— У нас — Европа! Большие люди из Москвы специально к тетушке Эльзе ездят! Кузины — классные девчонки! Студентки! Твоя Бригитта Тартуский университет с отличием заканчивает!

На экранах фильма Эстонии не появлялись. Но Комитет по кинематографии со своим особняком, отрядом чиновников, автопарком и другими подсобными заведениями благополучно существовал.

ГИВИ

Старая актриса служила в Ленинградском театре комедии. Главных ролей не играла, но худрук — знаменитый Николай Павлович Акимов, любитель экстравагантных сценических решений и оригинальной внешности артистов — ценил Нину Платоновну Барченко. Облик ее был нестандартен — длинную костистую фигуру с большими ногами венчала маленькая изящная головка. Учитывая особенности актрисы, Акимов давал ей эпизодические роли, выгодно используя природные данные. Она, конечно, мечтала о больших ролях, могучих страстях, трагедийных переживаниях. Моя жена, Алла Чернова, стала актрисой Театра комедии и соседкой Барченко по гримерной. Нина обладала естественным, почти детским юмором. Когда вошли в моду коротенькие, выше колен мини-юбки, она печально констатировала: “Разве это юбки? Мужчине догадываться не о чем!”

В театре ее любили за добродушие и отзывчивость. Она частенько приходила к нам, помогая присматривать за нашим маленьким сыном. Отношения Нины с мальчиком строились на равных. Главенствующее положение скорее занимал пятилетний Алешка. Бывало, придя домой, заставляли

такую мизансцену: в одном углу сидела большая мрачная Нина, в другом — нахохлившийся малыш. Оба молчали. Нина жалобно сообщала:

— Он на меня стремянку уронил. Нарочно!

Алешка лаконично басил:

— Все врет. Лестница сама на нее свалилась.

Иногда он без дипломатических ухищрений интересовался:

— Нина, ты скоро уйдешь?

Короткие ссоры кончались совершенно искренними и дружескими примирениями. Алеша нежно обнимал приятельницу:

— Нина, ты моя лубовница. Я тебя люблю.

Старуха млела.

Нина была чрезвычайно доверчива. В театре знали ее наивность и с удовольствием разыгрывали. Один из розыгрышей приобрел эпический размах. Этот сюжет под пером опытного драматурга мог бы стать занимательной пьесой. Театр был на гастролях. Артисты, свободные от домашних забот в гастрольный период, развлекаются, подшучивают друг над другом, придумывают розыгрыши. Актер Арон Подгур великолепно имитировал различные акценты. Позвонив в номер Нины Платоновны, говоря с достоверным грузинским акцентом, объяснился в любви и попросил о свидании. Горький опыт гастрольной жизни многому научил доверчивую Нину.

— Хватит трепаться, Арошка! — Она бросила трубку.

Но Подгур не сдавался, перезвонив, тихо, вкрадчиво произнес:

— Почему, драгоценная Нино, вы меня каким-то Арошкой обзываете? Я — Гиви Роберташвили, грузинский кинорежиссер. Видел вас в спектаклях... — Подгур без наигрыша, тихо дыша в трубку, сказал: — Я потерял голову... Вы — великая актриса!

Бедная Нина, забыв о крыловской вороне, у которой известно что произошло с головой от похвал, — поверила.

В ее номер стали приносить букеты с нежными записочками, подписанными росчерком “Вечно Ваш Гиви”. Вечерами регулярно звонил телефон и бархатный баритон с чарующим гортанным акцентом опьянял душу старой актрисы. Постепенно она узнала, что Гиви Роберташвили — крупнейший грузинский кинорежиссер. Его знаменитый фильм “Сабли Мингачаури”, который Нина почему-то не видела, лауреат международных кинофестивалей, обладатель золотых пальм, крылатых львов и медведей. Слух о таинственном Гиви, его безумной влюбленности в Нину, не без участия самой героини романа, распространился по театру. Коллеги, заговорщически подмигивая, спрашивали краснеющую по-девичьи старую актрису:

— Как поживает твой великий грузин? Уступила ты наконец темпераменту горца?

Польщенная Нина кокетливо отмахивалась:

— У вас одна похабщина на уме! Здесь чисто платоническое чувство. Вам этого не понять. — Добавляла, сурово поджав губы: — Кроме того, не забывайте — я замужем!

Гиви сообщил, что готовится к съемкам фильма о Жорж Санд, намекнув, что никого, кроме обожаемой Нино, не видит в этой роли, уехал в Польшу. Некоторое время телефон молчал. Нина тосковала. На бестактные вопросы коллег об исчезнувшем грузине, гордо пожимая плечами, не отвечала.

Наконец зазвонил телефон и глуховатый женский голос с польским произношением сказал:

— Пани Барченко! Пани Барченко! Мове Варшава! Варшава!

В соседнем номере моя жена, приложив к губам стеклянную банку, вещала голосом польской телефонистки:

— Пани Барченко, сейчас с вами будут разговлять!

Рядом, со своей банкой, притаился Подгур.

— Гиви, мальчик мой! — не скрывая радости, кричала Нина. — Слава Богу, что позвонил, я уже стала так волноваться!

История телефонной любви, увлеченно разыгрываемая артистами театра, длилась уже месяцы. Придя за женой, зашел в гримерную, которую она делила с Барченко. Стирая грим, Нина с небрежной значительностью спросила:

— Вы — кинематографист и, конечно, знаете своих самых известных коллег? Что вам говорит фамилия Роберташвили

— Гиви?! — восхищенно воскликнул я. — Автор великого фильма “Сабли Мингачаури”?! Один из самых талантливых режиссеров не только отечественного, но и мирового кинематографа!

Нина, скромно покачивая головой, с достоинством выслушала поток похвал, короткими, многозначительными репликами намекала, насколько она близка со знаменитым мастером экрана.

Пользуясь заграничными поездками друзей и знакомых, поручали отправлять на имя Барченко яркие открытки с видами городов. Гиви, продолжая готовиться к съемкам “фильма века” о Жорж Санд, много путешествовал. Нина вроде случайно забывала на столике гримерной красивые открытки со страстными объяснениями. Иногда, небрежно помахивая очередным зарубежным посланием, хвасталась:

— Опять Гиви прислал. Тоскует!

Скрытно готовилась к исполнению роли великой француженки. Читала ее романы, воспоминания о мадам Санд. Узнав, что та курила трубку, сама стала дымить. Натянула на себя тельняшку, вычитав, что писательница любила их носить. Показывала фотографии Жорж Санд:

— Смотри, как мы похожи! Одно лицо!

Слухи о безумном романе жены дошли до мужа Барченко. Супруг, скромный служащий, обиделся, решил отомстить коварной артистке. Нина по секрету жаловалась моей жене:

— Борис пронюхал о Гиви! Кругом — стукачи! Мне назло завел какую-то прихихешку! Нашла у него в кармане два театральных билета. Достала контрамарку, села на балкон с биноклем. Вижу: идет мой с еврейкой на тоненьких ножках. Ладно, я тебе покажу! Быстро вернулась домой, перегородила комнату шкафом. Приперся мой донжуан. Увидел шкаф, обомлел. Я ему: идите к своим тоненьким ножкам! Три дня умолял простить!

Театральные коллеги начали понимать: игра в “Гиви” затянулась — старуха того и гляди сбрендит! Жестокие актерские сердца смягчились. Надо было найти убедительный финал любовной драмы.

Пользуясь проверенной стеклянной банкой, “французская” телефонистка пролепетала: “Мадам Барченко! Мадам Барченко! Бон суар! Парль Пари! Франсе!” — и прочую ахинею. Вечный путешественник Гиви поведал обожаемой Нино, что едет во Вьетнам снимать документальный антивоенный фильм. Его душа не может примириться со зверствами американской военщины! Нина делилась, вздыхая:

— Боюсь за Гиви... Он такой горячий, бесстрашный! Полезет в самое пекло!

Гиви больше не звонил. Нина с трагическим лицом бродила по театральным коридорам. Приятели, продолжая подыгрывать, время от времени спрашивали участливо: “Не звонил? Никаких новостей?” Нина молча, кутаясь в шаль, печально качала головой. Однажды, после профсоюзного собрания, хрустнув пальцами, сообщила:

— Мальчик погиб во Вьетнаме. Видела вещий сон...

Встретив меня, произнесла голосом героини греческой трагедии:

— Великий Гиви Роберташвили покинул нас. Мир его праху.

Изогнутая курительная трубка несыгранной Жорж Санд навсегда осталась лежать у зеркала гримерной старой актрисы.

ОТЦЫ И ДЕДЫ

Дед Андрея Миронова Семен и мой дедушка Миша были родными братьями. Соответственно, отец Андрюши — артист Александр Менакер, по-домашнему Алик, и мой папа — были двоюродными. Выходило, что мы с Андреем — троюродные. Несмотря на разницу в возрасте — я старше на десять лет, — были близки...

Алик разошелся с первой женой, ушел к Марии Мироновой. У него был сын — трехлетний Кирилл. Родители Александра Семеновича обожали маленького внука.

Дед Семен, пытаясь уговорить сына не рушить семью, аргументировал самым веским доводом:

— Что ты делаешь? У тебя ребенок! Замечательный мальчик! Лишаешь себя счастья отцовства...

Алик, обороняясь, неосмотрительно заметил:

— Папа, у нас с Машей тоже может появиться ребенок. И я буду любить и его!

Страдающий дед яростно крикнул:

— Это уже будет не ребенок!

Потом Семен, сохранив прежнюю привязанность к старшему внуку, души не чаял в маленьком Андрюшке. Но гневная реплика деда о сомнительном статусе будущего младенца навсегда осталась в семейных преданиях...

Когда мы, уже взрослыми, собирались втроем — Андрей, Кирилл и я — наши посиделки именовались “встретились когда-то три брата-дегенерата”. Выпив, мы обязательно напоминали Андрею пророческий вопль родного деда:

— Это уже будет не ребенок!

Дергая брата за уши, хохотали:

— Раз ты не ребенок, терпи!

Дед Семен был вообще мастером невероятных формулировок.

Пришел в Театр эстрады вместе с женой на спектакль сына и Марии Мироновой. Гордо заявил администратору:

— Мы — родители Мироновой и Менакера. Посадите на хорошие места.

Растерянный администратор потом долго выяснял: правда ли, что артисты — брат и сестра...

Советская власть не гладила наших дедов по лысым головам.

В начале тридцатых годов обоих выслали из Ленинграда. Моего уехали в казахский городишко Атбасар, Семёна загнали в Сызрань. Позже, усилиями сыновей, старики вернулись на берега Невы. Дедушка Миша к ссылке отнесся с долей юмора, Семен испугался на всю жизнь.

Видимо, демонстрируя свою теперешнюю политическую благонадежность, Семен, тщательно выбритый, в белой рубашке и галстучке-бабочке, регулярно приходил поздравлять с годовщиной Великого Октября...

В очередной праздничный вечер появился со скромной коробкой конфет. По радио гремела музыка, торжественно вещали дикторы. Семен задумчиво произнес:

— Революция была необходима! Царская Россия прогнила окончательно!

Провозгласив большевистские лозунги, старик, поманив пальцем, чтобы я наклонился к нему, таинственно прошептал:

— Я знал Гришку Распутина... — замолчал, наслаждаясь произведенным эффектом.

Еще понизив голос, шепнул:

— Встретились в ресторане “Донон”. Вручил ему сумму. Крупную. Мерзавец на салфетке корявыми буквами написал министру: “Милай, дарагой...”. Я быстро получил выгодный заказ...

— Старик испуганно оглянулся. — Только никогда никому об этом не рассказывай!

Андрей любил деда, ласково подшучивал над стариком, приезжая, всегда навещал его. Стояли вместе в больничной палате около умирающего Семёна.

Внук примчался со съёмок в гриме, костюме, накинув сверху пальто. Не выдержав агонии старика, я вышел в коридор, закурил. Через несколько минут подошел Андрюша:

— Все... — Положил руку на мое плечо. — Я думал, ты — посильнее...

Осторожно, чтобы не размазать грим, вытер слезы:

— Нет деда. Горько...

ЕВРЕЙСКИЙ РАЗБОЙНИК

Вспоминая молодость, мама восхищенно рассказывала о знаменитом киевском авантюристе, называвшем себя князем Фигезовым. В юности “князя” звали Гершелем, Гришкой. Он был сыном бедного портного. Его жилье и мастерская располагались в доме маминого отца, моего деда. Босоногий Гершеле робко протискивался на кухню богатого дома, где сердобольная повариха подкармливала мальчишку. Грянула революция. Босой Гершеле надел хромовые сапоги, кожаную куртку — стал Григорием Марковичем Фейгельзоном, ответственным сотрудником грозной Чека.

Раскатывая по улицам города на реквизированном у сахарозаводчика Бродского черном “паккарде”, чекист наводил страх на местных буржуев. Страшным шепотом рассказывали о жутких ночных допросах в кабинете товарища Фейгельзона, выбивавшего сведения о спрятанном в тайниках золоте.

Видимо, помня милосердное подкармливание, Григорий Маркович деда не трогал. Иногда, приезжая, заглядывал на кухню, покровительственно хлопнув ладонью по пышному заду поварихи, спрашивал:

— Делаем рыбку фиш, тетя Фейга?

По-хозяйски входил в гостиную, садился, положив ногу на ногу, покачивая носком сияющего

сапога. Закуривал, оглядывая стены, молча сидел и уезжал. Вскоре — власть переменялась — чекист исчез. Пришел гетман. Засияли витрины ресторанов и кафе, по булыжным улицам бойко застучали колеса пролеток. В городе появился лихой гуляка — князь Фигезов. О его бешеных кутежах, невероятных тратах ходили легенды. Однажды, собрав всех проституток Крещатика, раздев их догола, погрузил в открытые коляски. Наняв еврейский оркестр, всю ночь гонял оголтелую компанию по городу.

Как-то около маминого дома, блестя лаком, остановилось ландо, запряженное породистыми лошадьми. Поддерживаемый под руки двумя казаками из экипажа вышел господин в красной, шитой серебряными галунами черкеске. Заломив высокую каракулеву папаху, звеня шпорами, роскошный гость вошел в дом. Игриво ущипнул тогда совсем юную маму:

— Здравствуй, баришня! Я буду — князь Фигезов. Как живешь-можешь?

Позвав деда, шикарно откинул полу черкески, достал украшенный золотым вензелем щегольской бумажник. Небрежно подвинул толстую пачку банкнот:

— На вашу бедность. Тратьте не считая. Подкинем еще!

Дед, поблагодарив, осторожно отказался принять подарок.

Закурив сигару, разбойник рассеянно спросил:

— Или правда, или мне кажется, в подвале вашего дома ютился еврей по специальности портной?

Дед печально сообщил: портного убили погромщики.

— Его женку тоже хлопнули? — бесстрастно осведомился князь.

Дед подтвердил. Ослепительный гость встал:

— Больше вопросов не имею. Живите.

Удалился, оставив на столе пачку денег. Позже выяснилось: купюры были фальшивые.

Мамины рассказы о голодном Гершеле, чекисте Фейгельзоне, князе Фигезове — нравились. Я зачитывался потрепанным томиком сочинений Бабеля. Особенно привлекал образ лихого героя Молдаванки — Бени Крика. Князь Фигезов из маминых воспоминаний походил на бабелевского бандита. Мне он представлялся огромным силачом и красавцем...

Недавно кончилась война. Мы обживали изуродованную блокадой квартиру. Вечером мама изумленно сказала своей старшей сестре:

— Знаешь, кто только что звонил? Никогда не догадаешься! — Выдержав интригующую паузу, мама огорошила: — Князь Фигезов! Завтра придет.

Тетка заохала:

— Не может быть! Жив? Гришка Фейгельзон! Чудеса...

Я с нетерпением ждал визита. В дверь позвонили. Побежал открывать. Хотелось первому увидеть легендарного героя. На пороге стоял маленький, тощий, старый еврей с жалким букетиком. Сильно картавя, спросил:

— Очень извиняюсь, мадемуазель Ася Гринберг (девичья фамилия мамы) здесь проживает?

На лацканах мятого пиджака гостя блестели ордена Красного Знамени и Отечественной войны...

Мама и пришедший обнялись. Старик заплакал, вытирая худой ладошкой слезы. Потом сидели в нашей столовой под выцветшим абажуром.

Старик, попивая из рюмки мелкими глотками, перемежая речь малопонятными мне еврейскими словечками, что-то неразборчиво бормотал. Одну фразу я понял.

— Вейз мир... — просипел, кашляя, князь Фигезов. — Была ли жизнь? Ни деток, ни внуков, ни правнуков! Все, старый поц, растранижил... — Старик по-детски всхлипнул. — Папашку жалко... И маманю...

Получил князь Фигезов свои ордена за военные подвиги или боевые награды были того же сорта, что ассигнации, подаренные деду, мы так и не узнали.

ТЕЗКИ

Эту историю рассказал мой дед.

На краю захудалого украинского местечка в покосившейся хатке жил тщедушный еврей-часовщик. Исаак слыл высоким мастером своего дела. Но работы было мало. Нищие жители почти не имели карманных, тем более редких тогда наручных часов. Чаще всего приносили чинить старые ходики. На ржавом циферблате останавливались глаза кота, переставала выскакивать кукушка — привычная жизнь дома замирала. Приходилось идти к Исааку. Ловкие руки невзрачного, лысого человечка оживляли механизмы. Снова выглядывала кукушка, начинал плавно водить глазами кот. Иногда часовщика вызывали к местному богачу, Моисею Шварцману, чинить старинные напольные часы. Местечко знало: для часовщика наступил торжественный день!

В день такого визита тщедушный часовщик, сменив латаную кацавейку на поношенный лапсердак, выпрямлялся, гордо шествуя по местечку. На голове мастера красовался выгоревший дырявый цилиндр, в обтянутых старыми нитяными перчатками руках — потертый саквояж с инструментом. Сзади бежала босоногая, чумазая ребятня:

— Ша! Дядька Ицек идет делать гешефт! Сегодня будет гешефт!

Не обращая внимания на сорванцов, часовщик продолжал величественно месить босыми ногами дорожную пыль. Обувь у Исаака не было давно. Свои небольшие заработки странный человек тратил на покупку дешевой бумаги в лавке Шварцмана.

У единственного в местечке кирпичного дома Исаак вынимал тряпицу, тщательно обтирал ноги. Стучал маленьким кулачком в дверь, произносил с достоинством:

— Реб Шварцман! По вашему вызову пришел к часам!

Местечко не зло, но равнодушно относилось к одинокому холостяку. Его старуха мать давно умерла, кроме тощего кота с библейским именем Соломон, ни одной живой души в убогом жилище не было. Женщинам маленький часовщик не казался мужчиной, возможным женихом, достойным отцом семейства. Женщины, добродушно посмеиваясь, звали его “Шлеймазл” — никчемный. Зато, когда портились примусы, швейные машинки, текли тазы, тащили поломанный скарб на починку Исааку. Прихватив лукошко яиц, несколько морковок и картофелин, изредка свежее испеченные пирожки, без стука открывали скрипучую дверь часовщика. Он, смущаясь, не глядя на посетительницу, поскольку сильно робел перед женщинами, внимательно рассматривал поломку:

— Что могу, сделаем. Спите спокойно! До вас сам принесу. Не трудайтесь!

Женщин удивляло множество бумаг, исписанных цифрами и непонятными закорючками, валявшихся на колченогом столе и ломаных табуретках. Заметив внимание к разбросанным листкам, Исаак поспешно сгребал бумажки, виновато отодвигая стопку. Местечко вначале удивлялось, а потом привыкло — ночами, почти до рассвета, светилось огоньком подслеповатое оконце хаты часовщика. Зачем Исаак жжет свечку, почему тратит деньги в лавке Шварцмана на бумагу, для села оставалось тайной. Для жителей часовщик был вроде местечкового

сумасшедшего, к чудачествам бедняги привыкли. Что с дурачка возьмешь? Местечко давно решило: пусть себе живет как хочет.

Однажды произошло событие, замеченное всеми.

Исаак впервые надел старые галоши, великодушно подаренные ему богачом Шварцманом, обрядился в лапсердак и, напялив цилиндр, отправился в соседний городок. Старый коммивояжер удивленно рассказывал односельчанам:

— Наш Исаак, дай Бог ему здоровья, совсем рехнулся! На городской почте отправил заказной бандероль — ценой в десять рублей. Чтоб я так жил! Целых десять рублей! Нищий еврей тратит такие оглушительные деньги на бандероль!

Любопытные спрашивали: что в конверте было? Старик недоуменно качал головой:

— Я знаю?! — Таинственно прошептал: — Но свою бандеролю шлеймазл послал знаете куда?!

Все притихли, коммивояжер, наслаждаясь эффектом, тянул паузу.

— Бандеролю он отправил, ни больше ни меньше, в Киев! В Университет!

Финал сообщения поверг местечко в полное изумление.

Исаак, сберегая подаренные галоши, по-прежнему месил уличную пыль босыми ногами, безотказно чинил предметы домашнего обихода. Но все, особенно женщины, заметили: светлые глаза часовщика теперь смотрели задумчиво, скрывая какую-то тайну.

Вечерами, одиноко сидя на завалинке у своей хаты, закинув голову, что-то тихонько напевал. Мальчишки рассказывали: “Гладит кота, приговаривает: „Скоро, Соломончик, уедем в Киев. Кусать будешь телячью печенку. Молочко лакать от пуза. Парное!“”

“Окончательно с глузду съехал”, — смеялись жители.

Раз в неделю приезжал почтарь. Обратили внимание: задолго до появления почтовой брички на улицу выходил Исаак. Переминаясь босыми ногами, приложив к глазам ладонь, терпеливо всматривался в дорожную пыль. Когда, позванивая колокольцем, останавливался почтовый возок, молча подходил, напряженно смотрел на почтальона. Сокрушенно возвращался домой. В окошке хаты часовщика по ночам перестал светиться огонек.

Наконец произошло событие, потрясшее всех — от мала до велика.

Мальчишки бежали, стуча в двери и окна:

— Исаак получил большое письмо! Из Киева! Желтый конверт! Пять марок с орлом! Сами видели!

Торжественно вопили:

— Исаак получил письмо!

Бледный часовщик, ни на кого не глядя, шел, благоговейно неся перед собой конверт. Потрясенные жители уважительно поглядывали на многозначительную улыбку получателя послания.

Что написано в письме, кем оно отправлено, никто не знал. Местечко бурлило невероятными слухами: часовщик получил огромное наследство! Исаак поплывет в Америку! Нашел знатных родственников! Скептики, лузгая семечки, усмехались:

— Идиоты, просто он выиграл в лотерею.

Предполагали даже, что часовщик отыскал по переписке богатую невесту. Несчастливая, не

подозревая об уродстве жениха, дала согласие. Это будет большой скандал! — радовались кумушки.

После получения загадочного письма Исаак не появлялся на улицах местечка. Мальчишки сообщили:

— В хате истошно мявчит Соломон.

Соседи подошли к развалюхе. Незапертая дверь со скрипом отворилась. Жалобно выл кот. Под потолком, скрючив босые ступни, качался маленький часовщик.

Старуха-соседка всплеснула руками:

— Вей мир! Я, дура старая, второй день бельевую веревку ищу! — Зарыдала, трясая седыми космами.

На столе лежал аккуратно вскрытый желтый конверт. Рядом письмо, написанное по-русски, четким изящным почерком, на веленовой бумаге с орлом.

Читать, тем более по-русски, местные жители не умели. Причитая, сняли тело, положили на стол. Послали мальчишек за раввином. Испуганно разглядывали письмо, кто-то посоветовал:

— Надо нести Шварцману. Он умеет читать русские буквы.

Богач Шварцман, водрузив на мясистый нос пенсне, запинаясь, повторяя малопонятные слова, медленно прочел:

— “Почтенный Исаак! Ни фамилии, ни отчества вы не соизволили указать, посему обращаюсь к вам по имени, коим подписано письмо. Послание ваше озадачило: математическое открытие, кое, полагаете, впервые сделано вами, существует уже три века! Широко известно ученикам гимназий. Некоторые своеобразные отклонения в ваших выкладках позволяют думать, что вы действительно не знакомы с хрестоматийной формулой. Автором ее является великий английский ученый, ваш тезка, сэр Исаак Ньютон. Триста лет во всех учебниках сия формула именуется — Бином Ньютона. Ежели, милейший, присланная вами, кое-где непонятно зачем измененная формула — шутка, то — простите великодушно — она глупа! Незачем отнимать время у занятых людей подобными шалостями. Примите уверения в совершенном почтении. Профессор математики Киевского университета, действительный статский советник... — Фамилию профессора Шварцман прочел, значительно по слогам: — Иг-на-тен-ко!”

Снял пенсне, задумчиво пожевал губами:

— Шамашедший Ицек, мир его праху, накопил в моей лавке кучу сортной бумаги! Спрашиваю: зачем?! Этот гешефт сделал ему копейку?!

Снова вздев пенсне, бегло проглядел письмо.

— Аглицкий конкурент его обскакал! — Побарабанил короткими пальцами по столу: — Исаак — Беноом — Ньютон! Никогда не слыхал о таком еврее!

Старуха-соседка забрала кота Соломона. Прибирая хатку часовщика, уважая бумаги, сохранила листки, исписанные цифрами. Спрятала и письмо столичного профессора, выпрошенное ею у богача Шварцмана в память о бедолаге-соседе.

Спустя некоторое время старуху навестил выбившийся в люди племянник, очкастый приват-доцент. Случайно обнаружив мятую, в пятнах стеарина рукопись часовщика, приезжий математик просидел несколько ночей, расшифровывая закорючки. Закончив, изумленно спросил тетку:

— Откуда бумаги?

Старуха, поглаживая отъевшегося Соломона, рассказала. Племянник потрясенно, зажав руками голову, бормотал:

— Господи, какой ум! Логика! Своеобразие! Бесстрашие!

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ВЕЧЕРА

Молодыми мы любили неожиданные приключения — нашим девизом было хемингуэевское “...А фиеста продолжалась...”. Белыми ночами, выходя из ресторана, не могли угомониться — звонили друзьям, забирались в мастерские художников, просто шатались по улицам, ожидая забавного случая.

В эту ночь нам с другом отозвалась мансарда художника Дорера. Хозяин, всегда готовый принять ночных гостей, предупредил: нет ни глотка! Достанете — приходите. Добыть алкоголь в такое время можно было только у таксистов.

В этот раз преследовала неудача: одни товар уже загнали, другие, видимо, не запаслись.

Водитель кивнул на дворничих, лениво поливающих из шланга асфальт:

— У теток поспрашивайте!

Бабы из-под надвинутых на лоб платков хмуро оглядели нас. Одна, постарше, хрипло сказала:

— Деньги вперед! — протянула крупную ладонь.

Получив требуемое, скомандовала напарнице:

— Пошли, что ли?

Бросив извивающиеся резиновые шланги, тетки зашли в подворотню, мы поплелись за ними. Спустились в подвальную комнату, где, видимо, бытовали подруги. В сводчатом помещении с небольшим оконцем стояли две железные кровати, накрытый старой клеенкой стол. На стене висел тряпичный коврик с традиционными медведями. Рядом — несколько журнальных цветных репродукций, на одной — лучший друг детей и физкультурников товарищ Сталин обнимал девушку.

Женщины скинули передники, сбросили с ног галоши, ходили по комнате босые. Негромко тикали старые ходики.

Старшая покопалась в стенном шкафчике, со стуком поставила на стол дешевую “Московскую” водку. Мой друг протянул руку за бутылкой, но дворничиха по-хозяйски остановила его:

— Не гони лошадей, паренек! Эту здесь приговорим! Стаканы ставь! — приказала напарнице. — Колбаска осталась. Хлебца подрежь. — Неожиданно, печально вздохнув, добавила: — Раньше по двести пятьдесят грамм — маленькими — продавали! Бывало, возьмешь “малыша” на воспитание, — она характерно щелкнула себя по горлу, — душа радуется! А теперь — хошь не хошь, глотай полкило!

Привычно, ловко содрала с горлышка крышку, поровну разлила водку в мутноватые граненые стаканы:

— За знакомство!

Мы покорно выпили. Тетки, “интеллигентно” оттопырив мизинцы, деловито жевали. Старшей, широкоскулой, грудастой, было, пожалуй, за пятьдесят; сухонькая младшая тянула на сорок... Командовала старшая. Подвинула тарелку с кусками засохшей колбасы:

— Закусывайте, не стесняйтесь. — Хохотнула: — Карточки отменили!

Приятель решительно поднялся:

— Пожалуйста, бутылочку. И мы пойдем!

Старшая дворничиха властно прижала его к табуретке:

— Сиди, какие твои годы? Будет тебе бутылка.

Разлила, опять с аптекарской точностью, остатки водки по нашим стаканам. Снова, вальяжно оттопырив крупный мизинец, глотком выпила, понюхала корку хлеба. Задумчиво сказала:

— В блокаду за рабочую карточку дворником стала. — Тяжело плюхнулась на скрипнувшую кровать. — На этой коечке — дуба врезала. Все чудилось — досыта хлебушка ем... — Кивнула на сухонькую: — Дуреху эту полумертвой подобрала. Тоже в дворники пристроила...

Она грузно встала, щелкнула выключателем, лампочка под мятым бумажным абажуром погасла. Полутемную комнату через подвальное окошко осветило неяркое утреннее солнце.

— Дуська! — хрипло приказала дворничиха. — Врубай патефон! Мою любимую ставь!

Младшая послушно выполнила приказ. Шипя, закрутилась пластинка, голос Шульженко проникновенно запел “Синий платочек”. Грудастая тыльной стороной большой ладони отерла глаза.

— Душу рвет... — тихо сиповато подпела: — Где вы, те ночи? Где ты, платочек, синий, желанный, родной...

Сбросив со стола порожнюю бутылку, поставила новую:

— У меня сегодня, пацаны, между прочим, личный день рождения! Тридцать пять девчонке стукнуло!

Поразило: оказывается, старая тетка — моя ровесница!

Товарищ, крепко ухватив бутылку, встал:

— Спасибо за компанию! Мы пошли.

Грузная дворничиха, тяжело охнув, рванула с себя замызганную юбку, оставшись в длинных, до колен, сиреневых трико. Бросила мощные руки на плечи моему испуганному другу:

— Куда тебя, милый, несет?! Тебе женщина от всей души хочет дать, а ты сваливаешь?!

— Только без рук! — истошно заорал мой приятель. Кинулся к дверям, призывно крикнул мне: — Спасайся!

Нам вслед неслись крики:

— Тухлые интеллигенты!

Было уже светло. Неяркие лучи утреннего солнца освещали еще пустые улицы. Из подвального окна доносилась затихающая мелодия “Синего платочка”... Вспомнив нескладную фигуру в дурацких фиолетовых штанах, призывный вопль обольстительницы, я захохотал. Пострадавший тоже веселился, припоминая подробности нелепого приключения.

Из брошенных вздрагивающих шлангов тихо сочилась вода. И мы вдруг замолчали. Стало стыдно за свой бездушный смех. Пронзила мучительная жалость к исковерканной судьбе этих одиноких женщин...

КНЯЗЬЯ

Замечательного кинооператора Диму Месхиева в ленфильмовских коридорах звали “Князь”. Жена оператора, режиссер Наташа Трощенко говорила:

— У моего мужа комплекс полноценности.

Мы дружили. Князь был мастером застолья, искусным тамадой и отменным поваром. Как-то между причудливыми грузинскими тостами и анекдотами Дима вспомнил такую историю.

В Тбилиси долгие годы жил старый переводчик Липскеров. Добродушному наивному старику понадобились деньги на лечение. Липскеров маялся, не знал, как решить проблему. Друзья посоветовали: пиши заявление в Совет князей Союза писателей Грузии. Помогут! “Советом князей” шутливо именовали секретариат писательской организации. Старик послушно и буквально выполнил сказанное. Отправил свое прошение в “Совет князей”. Беднягу вызвали на заседание секретариата. Классики грузинской литературы неодобрительно смотрели на старого переводчика:

— Что ты написал, Липскеров?! Почему нас, советских писателей, позоришь?! Какие мы князья?!
— Председатель укоризненно поцокал языком. — Где князей увидел? Тут сидят дети крестьян и рабочих! — Палец оратора указал на вальяжного соседа. — Какой такой Отарико князь?! Его папа арбщик был!

Коллега обиженно возмутился:

— Мой отец — князь!

— Ладно, — поморщился председатель, положив руку на плечо другого писателя. — Анкету Гено сам читал! Его родитель — потомственный трудящийся! Каменщик!

— Анкетам веришь? — гневно отзывается Гено. — Глупый! Не знаешь, как анкеты-шманкеты пишу?! Наш род княжеским еще при царице Тамар стал!

— А, черт с тобой! — взрывается председатель. Умоляюще просит: — Зураб, скажи этому Липскерову! Всей Грузии известно: ты-то из крестьян!

Зураб, вскипев, вскакивает:

— Это я из крестьян?! Каждый кинто помнит: мы — потомственные князья. Может, твои предки мотыгой землю ковыряли?!

Председатель величественно подымается:

— То, что я князь, вся грузинская литература знает!

— А!.. Какой такой князь?! — пренебрежительно отворачивается Зураб.

— Светлейший! — громко стучит кулаком по столу председатель. — Светлейший! Запомни!

Материальную помощь напуганному старику-переводчику оказали.

ДЕТСКАЯ ИСТОРИЯ

Находясь в очередном простом, зарабатывал постановкой новогоднего представления во Дворце спорта.

Написан веселый сценарий, приглашены артисты ленинградских театров, балет на льду, цирковые номера и еще мало известный тогда Слава Полунин.

Принимать новогоднее зрелище съехалось многочисленное руководство. Прибыла главная хозяйка ленинградской культуры, секретарь обкома Круглова. Суровую Зиночку, как ее шепотом звали в

коридорах Смольного, побаивались даже партийные соратники. Секретарь явилась в сопровождении синклита сотрудниц. Присутствовала и ее заместительница, лютая хранительница партийных устоев, с обманчивым добродушным круглым личиком.

После репетиции, не покидая правительственной ложи, товарищ Круглова предложила обменяться мнениями. Наступила тяжелая пауза. Тогда Зиночка директивно попросила:

— Слушаем городской отдел образования, “Ленконцерт”!

Деваться было некуда, и представители названных учреждений начали опасно высказываться. Оценки были осторожно доброжелательные. Прослушав выступивших, Круглова, печально покачав головой, повернулась к своей свите:

— Плохо работаем, товарищи сотрудники обкома партии! До чего низок уровень политической грамотности товарищей, возглавляющих культуру города Ленина! — Повторила сокрушенно: — Ленина! А это, — Зиночка сурово повысила голос, — наша вина, работников обкома! — Обведя строгим взглядом поникших членов приемной комиссии, Круглова спросила: — Какая главная дата надвигается на нас в следующем году?!

Мертвую тишину нарушила ее заместительница:

— Шестидесятилетний юбилей Великой социалистической революции!

Присутствующие виновато понурились.

— Именно, товарищи! — По слогам, с пафосом Круглова произнесла: — Шес-ти-десяти-летний! А что мы показываем ленинградской молодежи? Какие-то симпозиумы, дедушки, прадедушки?! Мало того, еще иностранные Санта-Клаусы разъезжают! И ни слова о великой революции! — горько подчеркнула. — Ни словечка! Полная утрата политического чутья! — После паузы отчеканила: — Ваш спектакль нашей молодежи показывать нельзя!

Неожиданно грянули мощные звуки веселого марша финала представления. Директор Дворца спорта вскочил, яростно замахав кулаками в сторону радиорубки. Из окошка высунулся перепуганный радист, закричал:

— Извините! Случайное включение!

Директор, не садясь, молитвенно сложил руки:

— Глубокоуважаемая Зинаида Михайловна, все билеты проданы! Каникулы!

Робко поднялся руководитель “Ленконцерта”:

— Финансирование закрыто... На серьезные переделки нет ни времени, ни денег!

Круглова укоризненно качнула головой:

— О каких финансах говорит директор?! Дело касается революционных традиций!

— Именно! — возмущенно поддакнула заместительница. — Ни стыда ни совести! Поблагодарили бы за то, что вовремя предостерегли!

Я сидел, прощаясь с гонораром. Надо выкручиваться. Встал, сказал проникновенно:

— Мы должны исправить допущенную нами серьезную ошибку. Предлагаю: срочно пишем яркий монолог о великой революционной дате. Перед каждым спектаклем, после торжественных фанфар, в лучах прожекторов выходит любимый зрителями актер... — спасая заработок, вдохновенно импровизировал. — Допустим, народный артист Игорь Горбачев. — Почему назвал это имя, сам

не знаю! — Читает под звуки музыки монолог! Уверен, Игорь Олегович согласится!

Все смотрят на Круглову. Она медленно шествует к выходу. В дверях поворачивается:

— До вечера пришлите текст. Подтвердите согласие Горбачева. Тогда и примем решение.

Заручившись согласием “Ленконцерта”, что Горбачеву будут платить за каждое пятиминутное выступление по две концертные ставки, сажусь писать текст монолога. Сочиняю в стиле пламенного трибуна советской сцены Всеволода Вишневского. Остается уговорить Игоря Горбачева произносить эту абракадабру. Уверенности в успехе авантюры нет. С Игорем давние дружеские отношения; созвонился, еду к нему. Объяснив ситуацию, гарантирую высокую оплату, извиняясь, боязливо вручаю текст...

Настороженно наблюдаю за читающим. Горбачев снимает очки:

— Приходилось брать в зубы и не такое...

Вынимает из пачки “Мальборо” сигарету, закуривает:

— Сколько раз эту бредятину придется декламировать?

Называю количество спектаклей. Артист что-то чиркает в блокноте. Видимо, подсчитывает сумму гонорара. Вздыхает:

— Лады! Зиночке пламенный! — рокошет Горбачев. — Мы дружим!

Текст с нарочным послан Кругловой.

— Монолог неплохой! — сообщает по телефону Зинаида Михайловна. — Горбачев молодец, он не подведет. Играйте! — После короткой паузы добавляет: — А вам не стыдно? Без подсказки не можете?!

За несколько минут до начала первого представления появился роскошный Горбачев в концертном костюме, с золотыми лауреатскими медалями. На шее красовалась кокетливая черная бабочка. Учитывая текст, который артисту предстояло произносить, посоветовал заменить игривый бантик строгим галстуком.

— Старик, ты прав, — безропотно согласился Горбачев. — Режиссура — тоже профессия.

Больше всего я опасался непредсказуемой реакции расхлябанных подростков. А ну как, услышав трескучий пафос вступления, зал начнет улюлюкать, хохотать, свистеть, топтать ногами?! Игорь либо не понимал опасности, либо был совершенно уверен в своей актерской мощности.

Услышав призывные фанфары, Горбачев мельком взглянув на листок с текстом, сунул его в карман:

— Всю ночь твою хреновину зубрил!

Судя по этой реплике, артист понимал, что ему предстоит! Он выпрямился, приосанился, решительно шагнул на арену. Затаив дыхание в ожидании катастрофы, я подглядывал из-за кулис.

В лучах прожекторов восторженно блестели глаза артиста. Вдохновенно рокотал красивый голос. Зал, притихнув, слушал трескучие фразы. Многотысячная аудитория бесшабашных юнцов ни разу не свистнула, не затопала, не разразилась издевательскими хлопками.

Заканчивая, артист проникновенно поздравил молодежь с наступающей в новом году великой датой, зал разразился шумными аплодисментами. Горбачев величественно вернулся за кулисы, обтер платком влажное лицо:

— Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики!

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

В 1955 году торжественно отмечалось пятидесятилетие “генеральной репетиции” Великого Октября — революция 1905 года.

Дирекция ленинградского Дворца культуры предложила мне, самоуверенному студенту режиссерского факультета, поставить к этой дате масштабное театральное зрелище. Тогда меня привлекали броские, яркие, почти эпические театральные формы. Ставя спектакль на столь грандиозную тему, можно было развернуться во всю ширь!

Дворец культуры щедро предоставлял свои финансовые и творческие возможности. В спектакле должны участвовать лучшие коллективы, лауреаты многих конкурсов, — театральные, хоровые, танцевальные, а также симфонический оркестр. Для постановки разрешено пригласить известных профессионалов — художников, композиторов, балетмейстеров.

Используя опыт древнегреческого театра, пламенную драматургию мастеров советского театрального эпоса, сочинил сценарий спектакля “Песнь о девятьсот пятнадцатом”. Молодой композитор Игорь Борисоглебский написал патетическую музыку. Был приглашен знаменитый балетмейстер Леонид Яковсон. Опытный мастер сценографии художник Мелков сделал великолепные эскизы декораций. Больше всего я гордился эффектным решением сценического портала. Все громадное пространство сцены Дворца занимал колоссальный красный шелковый флаг-занавес. В углу, у позолоченного древка знамени, — высокие широкие белые ступени. На них располагался хор, основное действующее лицо представления. Когда многометровое красное полотнище освещали прожектора, а вентилятор ритмичными волнами колыхал переливающийся шелк — я ощущал себя настоящим режиссером...

Наступили сводные сценические репетиции. Впервые столкнулся с профессиональными сложностями. Нужно было органично соединить текст, музыку, сценическое действие, сложную световую партитуру, мгновенные перемены декораций. На сцене толпились сотни участников, способных ребят, но все же не профессионалов.

За кулисами раздавался усиленный микрофоном голос помрежа:

— Кадриль, мазурка! На расстрел!

Танцоры в шитых золотом мундирах и роскошных платьях, только что бездумно плясавшие на великосветском балу, стремительно набрасывали поверх светских туалетов армяки, полушубки, зипуны, накидывали платки и бежали под спускающуюся с колосников арку Дворцовой площади — падать от пуль царских сатрапов. Ослепительными вспышками мигали прожектора, гремели литавры. Падали люди. Звучно читал пафосный текст недавно демобилизованный моряк Толя Ромашин, будущий артист театра и кино.

Отбирая у нас драгоценное сценическое время, параллельно репетировали конкуренты — профессиональные актеры готовили елочное представление. Ставил “елку” начинающий режиссер Игорь Владимиров. Новогодние спектакли Владимирова пользовались успехом.

Наконец настал день нашей генеральной репетиции.

Учитывая важность темы, прослушать нашу “Песнь” прибыло городское начальство весьма высокого ранга.

Погас свет, загремел оркестр, засиял переливающийся волнами алый стяг. Спектакль, к счастью, без обычных для генеральной репетиции накладок набирал силу. В финале на сцене появлялась баррикада. За ней лежала невидимая тюлевая сетка, покрытая флагами, транспарантами, стягами из легчайшего эксельциора, раздуваемого малейшим движением. На полотнищах по старой орфографии, с “ятями”, написаны лозунги: “Долой самодержавие!”, “Вся власть Советам!”, “Фабрики — рабочим, землю — крестьянам!”.

После торжественного текста чтеца: “Мы многих сегодня не знаем имен. Не в списках, не в метриках шарьте! Смотрите, встает из тысяч знамен великое знамя партии!” — сверху опускался огромный флаг-занавес, переливающийся в лучах прожекторов.

Впоследствии на спектаклях такой финал неизменно вызывал овации зала. В те времена публика любила подобные театральные эффекты.

На генеральной репетиции произошла катастрофа.

После вдохновенно произнесенных Толей Ромашиным слов “...встает великое знамя партии!” вместо выставшего над баррикадой алого стяга сверху медленно опустилась громадная ступка с чучелом Бабы-яги. Яростно светились электрические глаза ведьмы, воинственно торчал горбатый нос, развевались седые космы. Грозно покачивалась метла.

Торжественно пели трубы, грохотали литавры, звенели голоса хора...

Приемная комиссия, ошеломленная фантасмагорией, застыла в ужасе. Перекрывая музыку, раздался в полную мощность закулисного микрофона вопль машиниста сцены:

— Иван, твою мать! Не тот тянешь! Пятый штанкет надо! Шелком по заду давай!

Ступка со страшным персонажем владимировской елки, злорадно покачиваясь, поползла наверх.

На дворе был пятьдесят пятый, а не тридцать седьмой год, но душа моя ушла в пятки. Что, если трюк с Бабой-ягой сочтут обдуманной провокацией, дискредитирующей коммунистическую партию?!

В зале стояла мертвая тишина. Спектакль остановился. Дали занавес.

Робко встала перепуганная директор дворца:

— Уважаемые товарищи! Руководство приносит глубокие извинения за произошедший инцидент. — Переведя дыхание, решительно добавила: — Виновные будут строго наказаны. Честное партийное слово: такое никогда не повторится!

Я дал команду продолжать репетицию. Стяги благополучно поднялись над баррикадой. Как ни странно, спектакль приняли. Никого не арестовали, даже не объявили выговоров с занесением в личные дела.

Внезапное появление ступки с Бабой-ягой преподавало мне яркий урок режиссуры, показало, что такое настоящий сценический эффект.

ПОЦЕЛУЙ ТИГРИЦЫ

Встречи Нового года в ленинградском Доме кино стали традицией. Специально делались шуточные короткометражные фильмы, зал ресторана, вестибюль и фойе декорировали карикатурными картинками и шаржами. Попасть на Новогодний вечер в Дом кино было престижно! За столиками собирались знаменитости — звезды экрана и кино.

Последние годы фантазия устроителей праздничных вечеров несколько оскудела. Возник стандартный репертуар новогодних встреч — выступление нескольких известных эстрадных артистов, начинающих тогда писателей-сатириков Миши Жванецкого, Семена Альтова. Выклянчивали в Госкино заграничную комедию, если повезет — музыкальную. Этим развлекательное новогоднее меню ограничивалось.

Мне, еще молодому ленфильмовскому режиссеру, предложили придумать и осуществить программу праздничного вечера.

Размышляя, как и чем удивить избалованных коллег, понял: после часа ночи, когда уже выпита не одна рюмка, легкими сценическими шуточками зал не расшевелить! Надо придумать нечто необыкновенное.

Недавно с шумным успехом прошли гастроли оригинального чешского театра “Латерна магика”. Особенностью спектакля было соединение театра и кино. Актеры сходили с экрана на сцену, возвращались с подмостков на экран. Новогодний капустник решили сделать пародией на заграничный шлягер. Если чешский театр назывался “Латерна магика”, наш именовался “Матерна логика”.

Пригласили танцовщиц Мюзик-холла, провели в павильонах студии съемки. Смонтировали лихой канкан с участием пожилых мастеров “Ленфильма”. Знаменитые мэтры испуганно выглядывали из-под вздымающихся юбок пляшущих шансонеток. Приготовили множество сценических шуток и шалостей. И все же не хватало неожиданного эффекта.

На студии снимали фильм “Сегодня новый аттракцион!”. Главными героями картины были тигры. Осенило — новогодним сюрпризом станут звери!

Заведовал хищниками высокий мрачный Костя Константиновский. На манеже красовалась его хорошенькая жена — Маргарита Назарова. Дрессуру, подготовку номеров проводил невидимый зрителю Костя. Уговорили его принять участие вместе с питомцами в новогоднем вечере. Неразговорчивый дрессировщик лаконично обронил:

— Приведу на вашу пьянку двух гепардов и тигрицу.

Поставил условие: хищников необходимо заранее привезти в Дом кино. Звери должны обнюхать, обследовать помещение, где им предстоит появиться ночью.

Длинноногие пятнистые гепарды неохотно побегали по сцене, обнюхивая ее, как домашние кошки. Тигрицу Юлю Костя, ласково называя “девочкой”, привел, как собачку, на длинном поводке, нежно поглаживая рыжий загривок. Глядя, приговаривал:

— Спокойно, девочка, спокойно, малыш!

Огромной “малышке” был год. Костя утверждал, что могучий зверь добрее котенка. Глядя на грозные клыки зевающей тигрицы, в это было трудно поверить...

Юля деловито обошла зал, пролезла под столики, помахивая полосатым хвостом, перебирая крупными лапами ступеньки, взбежала на сцену. Закончив осмотр, по-хозяйски разлеглась перед экраном. Я боязливо наблюдал за “кошечкой”. Костя небрежно предложил:

— Подойди, поцелуй девочку...

Понимая, что вряд ли когда-нибудь еще раз представится возможность поцеловать тигрицу, заставил себя наклониться к голове хищницы. Костя, взяв большой ладонью морду тигрицы, повернул ее ко мне. Ощувив терпкий, мускусный запах, я дотронулся губами до мехового лба. По щеке будто провели влажным наждаком — тигрица нежно лизнула меня. Ощущение было непередаваемое, запомнилось на всю жизнь.

Потом сидели с Костей в фойе, курили. Тигрица, положив мощную голову на лапы, лежала у ног хозяина. Спросил дрессировщика:

— Как ты добиваешься беспрекословного подчинения животных?

Костя загасил сигарету:

— Сначала — табуреткой в нос! Должны знать: я сильнее! После — ласка, угощение, беседы.

Участие зверей в нашем театре “Матерна логика” значилось как “Совершенно новый аттракцион.

Риточка Назарова с группой плохо дрессированных хищников”. Кроме тигрицы и гепардов был приготовлен еще один неожиданный сюрприз.

Наступил новогодний вечер. Слухи о том, что готовится что-то необычное, собрали пышное общество. Приехали Аркадий Райкин, Лида Смирнова, Николай Черкасов. Пробили двенадцать раз куранты. Выстрелили пробки шампанского, полетели серпантинные ленты, засверкали бенгальские огни. Погас свет в зале, осветился экран, загремела музыка. Темпераментно канканировали мюзик-холльные девушки, “Матерна логика” причудливыми трюками веселила гостей. Объявление о выступлении плохо дрессированных хищников вызвало шквал аплодисментов.

Когда в зале появилась тигрица, величественно шествующая на поводке впереди мрачного, в кожаных штанах и куртке, Кости, столики притихли, потом пронесся удивленный шум. Гости осторожно вставали, рассматривая зверя. Тигрица элегантно поднялась на сцену, вальяжно уселась в кресло. Костя повязал на ее шею крахмальную салфетку. Знаменитый опереточный комик “дядя Саша Орлов”, в поварском колпаке, вынес на подносе большой кусок сырого мяса, сказав:

— Много лет играю на сцене рядом с настоящими тигрессами! Этой киской меня не испугаешь! — Потрепав Юлю по загривку, поставил перед ней мясо: — Кушай, лапушка!

Константиновский, хлопнув пробкой шампанского, поздравил от имени тигрицы присутствующих с Новым годом. Тигрица приветливо помахала лапами. Выскочили гепарды, прыгали через горящие обручи, ловко кувыркались, танцевали с мюзик-холльными девушками и Ритой Назаровой, одетой в бальное платье и маленький кокетливый цилиндр. Зал восторженно аплодировал. Но главный трюк был впереди!

За дверьми ресторана послышался грозный медвежий рев, раздались испуганные вопли:

— Держите! Осторожнее! На помощь!

Затихла музыка, погас экран. Я подскочил к микрофону:

— Друзья! Только без паники! Вырвался полудрессированный медведь Зяма! С нами опытный, бесстрашный дрессировщик. Костя усмирит зверя!

Гремя болтающейся на загривке цепью, с ревом, угрожающе махая поднятыми вверх передними лапами, в зал ворвался медведь. На сцене, встав на дыбы, зарычала тигрица. Рядом с присевшими для прыжка гепардами, щелкая кнутом, появилась Назарова. Костя, вынув из кармана кожаных штанов большой револьвер, зловеще взвел курок.

Медведь, продолжая жутко рычать, косолапо метался между столиками. Падали стулья, визжали женщины. Наиболее смелые кавалеры оттаскивали в сторону перепуганных подруг. Гепарды шипели, грозно выла тигрица... Константиновский крикнул в микрофон:

— Воду без моей команды не пускать!

Суматоха в зале нарастала. Костя кричал медведю:

— Зяма, ко мне! Зяма, на место!

Медведь неуклюже вскарабкался на сцену, сказал с заметным еврейским акцентом:

— Люди! Дайте же рюмочку водочки!

Откинул двумя лапами на затылок тяжелую морду, из-под нее показалась лысая голова... Сбросив шкуру, вылез тщедушный Миша Гуревич, известный всему “Ленфильму” кормилец и сторож кинозверей.

Стены ресторана сотряс дружный хохот. Старик Гуревич, глотком опрокинув рюмку, картаво

поздравил “очень дорогих друзей”.

На другой день в городе сплетничали:

— Киношники, совсем озверели, пьянствовали в Доме кино — со зверьем! Сидели в обнимку с тигрицами и львами. Артистки танцевали с пьяным медведем. Топтыгина, по кличке Мойша, привез из Биробиджана знаменитый дрессировщик Гуревич. Зверь слушается только произнесенных по-еврейски команд...

Вот такая получилась новогодняя “Матерна логика”!

Сменялись разнообразные встречи Нового года, приближая к загадочной, почти нереальной смене тысячелетия. Казалось, дожить до двухтысячного года, тем более жить в XXI (!) веке — фантастика! Но, стремительно промелькнув, листки календаря показывают 2008 год!

Годы, в которые мы жили, были нелегкими.

Времена, известно, не выбирают — в них живут и умирают. В самые страшные периоды истории люди продолжали влюбляться, рожать младенцев, даже веселиться. Пир во время чумы? Возможно. Но, если бы в пространстве черных времен не проблескивали светлые мгновения, остановилась бы жизнь. Заканчивая игру с калейдоскопом своей памяти, удивленно радуюсь: среди мрачных, темных воспоминаний попадаются и яркие, цветные.

Не знаю, как обратиться к тому, кто взглянул в мой “Калейдоскоп”? Читатель? Высокопарно. Вряд ли страницы-осколки имеют право называться книгой. Потому назову партнера по игре в детскую трубочку — собеседником. Передаст ли мозаичный хаос воспоминаний атмосферу прошлого, силуэты людей известных, значительных и самых обычных? Надеюсь, мой собеседник разглядит смутный рисунок ушедшего времени.